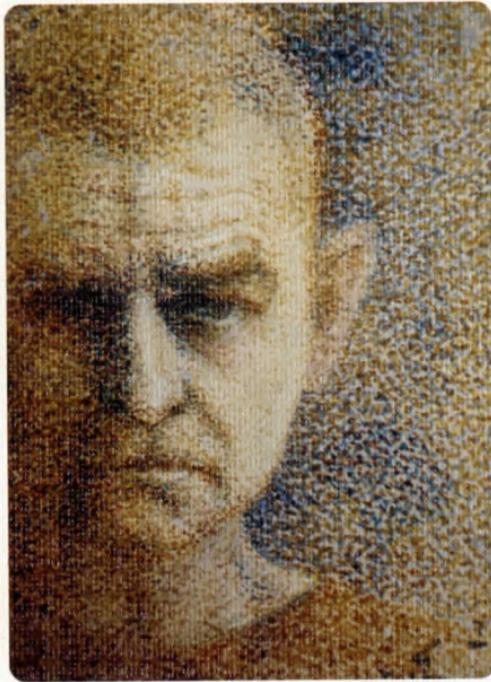




Карен Петросян

ПТИЦА-БЕДА



КАРЕН ПЕТРОСЯН (1933 - 1990) – художник, литератор. Он был из редкой породы разнообразно талантливых людей, «маленьких Леонардо», и, казалось, мог всё. Походил на героя старого анекдота, не знаяшего, умеет ли он играть на скрипке, потому что еще не пробовал. Реальность была ненамного менее фантастична. Диапазон Петросяна – от десятка рабочих профессий до сложнейшего классического репертуара (правда, не скрипки, а гитары). Самоучкой. Как все остальное.

Сын репрессированных родителей, Веры Романовны Шумаковой и Хорена Самвеловича Петросяна, унаследовал от них не только способности, но и трагичность судьбы. Одного таланта у Петросяна определённо не было: таланта устроить свою жизнь. Немалая её часть прошла в зоне.

Из зоны молчания крымский самородок Карен Петросян выходит только теперь. Выставками акварелей в Симферополе. Этой книгой.

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

КОЛЛЕКЦИЯ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ



ИСТОРИЧЕСКАЯ
КНИГА

Карен Петросян

ПТИЦА-БЕДА

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2012

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-4

П 311

Составитель
Ирина Львова

Петросян К.

П 311 Птица-беда. – СПб.: Алетейя, 2012. – 159 с. – (Серия «Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы»).

ISBN 978-5-91419-595-0

Герои книги Карена Петросяна (1933–1990) – порядочность не очень порядочных, достоинство не очень достойных, юмор совсем не весёлых. И ещё один герой – поэзия любої жизни. И ещё один – главный. Он и вовсе едва виден. Слабый огонёк. Уже не горит, но ещё тлеет. Ещё освещает душу и «противоборствует оставшейся жизни».

Почти все жители книги – слабые мира сего: зеки, бомжи, дети. Почти все – от больного злобой и туберкулёзом Лёньки до случайно спасшейся еврейской девочки Руты – отверженные. Каждый по-своему. Как сам автор, который был отвержен и при жизни, и после неё. Был. До первого удивлённого зрителя на запоздалой выставке его акварелей. До первого читателя, который эту книгу не отвергнет.

В оформлении обложки использованы работы
К. Петросяна «Птица-беда» и «Автопортрет».

ISBN 978-5-91419-595-0



9 785914 195950

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

© И. Львова, Э. Львов, 2012
© Издательство «Алетейя»
(СПб.), 2012

«ПЯТНЫШКИ» И ПЯТНА

Перед вами проза художника. Это не призыв к снисходительности, а камертон. Почти всё написано в зоне. Что тоже – повод не к снисходительности, а к иному пониманию. И не столько текста, сколько пространства между строк. И – пространства судьбы. Смеси трагедии и триллера. Где всё взаправду. Даже смерть.

Написанному четверть века и более. Когда до отмашки на «всё можно» ещё далеко, тема «дня» ещё не «тема дня», диктуется не спросом, а сердцем.

Карен Петросян первичен. Ничего из пальца. Непрофессионален. Именно своей непрофессиональностью интересен. Прорывом на страницы самой жизни, а не её словесной имитации. Даже сюжетно организованное воспринимается как дневник. Как «...почва и судьба». В каком-то смысле это больше, чем литература. В чём-то меньше. В чём-то – литература. Иногда непрофессионализм парадоксально проявляется в излишней литературности. Но и тогда его проза не теряет свои главные особенности: почти детскую искренность и (без «почти») художническую точность деталей.

Не хотим упреждать читательскую оценку, но не можем не отметить свойственную Карену Петросянудержанность в сценах, которые просто провоцируют

автора к жёсткому натурализму. Его тактичность, чистота, даже наивность — почти невозможные составляющие в потоке современной «тюремной» литературы с её часто искусственными, но искусственными сюжетами и чернотой, переходящей в «чернуху».

В лучших рассказах Петросяна — необъяснимый подспудный свет, еле пробивающийся, еле уловимый, но постоянный, оживляющий самые мёртвые души, очеловечивающий самые жестокие характеры его антигероев. Источник света, конечно, в авторе, который, несмотря на все изломы своей изуродованной жизни, сохранил веру и в людей, и в себя.

На обложке рисунок К. Петросяна «Птица-беда». Рисунок — загадка. Птица — загадка. Она двуголова, четырёхглаза. То ли с дьявольского птичьего двора, то ли с чернобыльского. Смотрит и вперёд, и назад. И в прошлое, и в будущее. Видит всё и всех. Выбирает. И не скрывается. А Петросян и не пытался. Даже приманивал. Армянским темпераментом и чувствительностью, русской склонностью к риску и пьянству. Впрочем, птица-беда привязалась к нему с детства. Она перелетала за ним с места на место. Не отставала. До последнего дня. Вернее, до последней ночи.

А начало — солнечнонос. Благополучная семья начинающей актрисы и офицера ГБ. Заласканный ребёнок. Мощные потоки русской и армянской культур. Семейная легенда о главном детском желании: «пятнышки!» Краски. Эти «пятнышки» цветным пунктиром пометят всю его судьбу. Увы, рядом с «пятнышками» тянулись через всю жизнь и пятна. Грязи, алкоголя, крови. Своей и чужой. Но это — потом. Следствие. И философское,

и юридическое. А причина — там, в детстве. Петросян, родившийся в тридцать третьем, дитя тридцать седьмого. Именно тогда началась его подлинная биография. Расстрел отца, арест матери. Читатель, может, хватит с ребёнка? Аи / нет. Через несколько лист — самоубийство деда...

История Карсена Петросяна — изнанка парадной истории страны и отчасти её символ. Символ бесконечных возможностей, в том числе и к саморазрушению. Страна, посдавшая себя, уничтожившая миллионы, медленно, но верно изживала ещё одного. Трагичность судьбы, унаследованная от родителей, была сполна поддержана и узаконена государством. И сам Петросян, и его творчество всегда существовали не «благодаря», а «вопреки». Власть боролась с ним почти с его рождения. Сначала косвенно — через семью — репрессиями, нищетой. А потом и прямо. Не с политическим противником, а с неуправляемым характером. Боролся с Петросяном и сам Петросян. Иногда безуспешно. Он, красивый, остроумный, мужественный, воспитанный героями Лондона и Грина и сам похожий на романтического героя, с лишним глотком превращался в свою противоположность. И словно мстил всему белому свету — и за родителей, и за себя. Тогда преступались границы. И общежития, и закона. В итоге — и границы жизни.

Грустно шутя, скажем: он «хватил лишнего» и в другом смысле. В хождении по мукам. Птица-беда. Рок.

И ещё один рисунок. Та же стилистика. Вместе с «Птицей-бедой» почти динтих. «Насекомое». Аккуратно искалеченное жизнью. Не будем перечислять отре-

занное, обломанное, вытекающее. Итог «птичей» работы. Или промежуточный итог: насекомое, кажется, ещё живёт. И не отсутствие чёрного юмора, а, может быть, обыкновенное мужское нежелание выставлять боль напоказ помешало Петросяну назвать рисунок без обиняков: «Автопортрет».

Два предположения более общих. Первое — к слову о судьбе. Кем мог бы стать тот благополучный талантливый мальчик, если бы не... Художником? Литератором?

Он и стал. Несмотря ни на что. Каким — судить вам. Но это уже другой разговор.

Второе. Его регулярно присылавшиеся (имел право на два письма в месяц) рукописные страницы, из экономии исписанные до краев. Почти без промежутков. Набитые словами, как камеры людьми. Не продохнуть. Прочесть почти невозможно. Подвиг сестры в расшифровке и печатании. И — вопрос: что если бы в этих страницах не было ни капли таланта? Кажется, и тогда они были бы достойны уважения. Как овеществлённое торжество воли. Силы характера. Свидетельство победы над обстоятельствами. И внутренними, и внешними.

Но в них есть и талант. И то, что он уцелел, и то, что он не только уцелел, но и постоянно развивался, кажется чудом. Чудом природы. Человеческой.

Авторучка, карандаш, кисть были соломинками, за которые Петросян хватался, чтобы выжить. Рисунки и рассказы наполняли смыслом его жизнь и тем самым спасали её. Теперь они скрашивают нашу. А может, и наполняют смыслом.

...После гибели Карена Петросяна сестра нашла в его архиве пожелавшие листки. И — шок. Мистика. В черновике стихотворения, в последней строфе, за 22 года до смерти — декабрь в декабрь — Карен предсказал как умрёт.

...Но страшно в ночи быть озябшему птицей,
В ветрах, в снегу, в дожде над ветвями кружиться.
И где-то замёрзнуть на крыльях метели...
...В глазах у меня потухали грустные искорки хмеля...

Он замёрз на своей улице. В ста шагах от своего сараячика. Читай, на пути к себе. Долгом, но не бесплодном. И в его последней декабрьской ночи тоже угадывается символ. В чём-то виноват сам, в чём-то ночь. Читай, страна. Он всегда был окружён ей холодом. Читай, равнодушием. В лучшем случае. О любви речь никогда не шла.

И он замёрз.
Ещё не поздно отогреть память о нём.
Оживить его имя.

Карен Петросян. Художник. Может быть, вы добавите: и писатель.

Эммануил Львов

КОРОЛЕВА ЗОЛОТА

(Калейдоскоп)

— Королева золота, — начал Смындин жутким шепотом...

— Свободные уши нашёл, — шепнул Демидову сосед по нарам, косой, щуплый парнишка, сидевший за кражи. — Это на весь вечер.

Звериный слух Смындина уловил реплику.

— Ты, пацан, глухни! Не хочешь слушать — лежи, соплями бультай, а то в бубен склоночешь! Я этот роман в крытой читал, когда твоя мамка тебя с аборта принесла...

— Ты мать не трогай, — взъерошился косой, — я свою гоню, не с тобой базарю!

— Хорош! — крикнул кто-то с соседних нар. — Да-вай, Коля!

Смындин продолжил:

— Раньше этих романов валом было. Как возьмёшь — не оторвёшься! Люди под вышкой сидели. Его выводят, а он роман читает. «Подожди, — говорит, — две странички осталось!..» Сейчас не книги, — тряпьё! Вот, — он тряхнул корками полувыпотрошенных рассказов Дмитрия Холендро. — Только покер расписывать! Найди сейчас Виктора Гюго или Стэндэля?! А раньше были... Я как сейчас помню, в 1951 году в Крепостах плавал. Приносят книги. Вежливо так... Берите,

читайте. А они толстые и все листки целые. Попробуй, вырви! Свои убьют! А сейчас тащит этот библиотекарь-придурок всякий хлам! — он опять тряхнул несчастного Холендро, и остатки сочинения высыпались из тощей обложки. Очередной гейзер ругательств Смындин выплюнул на невинного библиотекара из заключённых, раздающего книги.

— Что ты его лаешь? Он зек, — вступил голос снизу. — В тюрьму кто книги приносит? Не знаешь! Дети, школьники. Собирают как утиль и сдают сюда. А здесь рук хватает! Подчеботарят и по кругу.

— Они получают и новые, — компетентно вмешался Мишка-Хрипатый. — Только нам их не читать! Между собой тасуют. Сейчас хорошую книгу и на свободе не купишь...

— Давай королеву! — нетерпеливо заголосили окружающие.

Смындин швырнул на пол окурок.

— Ну вот, значит, летел самолёт...

* * *

Демидов лежал в душном полумраке осуждёнки. Он привыкал к низкому сводчатому потолку камеры, к оконным проёмам ниже уровня земли с тройными решётками и сеткой, к новым лицам. Застоявшийся воздух был осозаемо вязким... В этой затхлой каменной конуре путались мысли. Вялые конечности казались онемевшими и тяжёлыми. Демидов сравнивал камеру с подводной лодкой, в которой чудом ещё сохранился остаток кислорода. Малейшее движение вызывало недоровую испарину. Казалось, потеют даже ногти и во-

лосы. В камере обитало человек двадцать пять, а лежачих мест было всего шестнадцать. На двухъярусных нарах впритирку копошилось удвоенное количество тел. Несколько человек валялось на полу. Им дышать было легче. Они первыми насыщали лёгкие каплей воздуха, проникавшего сквозь фильтры оградительной решётки. Верхним нарам, на которых лежал Демидов, приходилось тяжелее всех. Они плавали в зловонных испарениях. Демидов вяло скользил взглядом по голым татуированным телам. Ровный, без интонации, голос Смынина вещал о том, что самолёт падает...

Демидов пытался классифицировать татуировки. У заключённых, возраст которых перевалил за 40, рисунки были корявыми, расплывчатыми. Парящие птицы неизвестной породы держали в хищных когтях гольых баб. Аляповатые кресты, могильные плиты и — перечень имён. Черти, больше похожие на Чебурашек, сидящие на огрызках Луны, карты непонятной масти и другие замысловатые рисунки, отличавшиеся, при всей мрачности тематики, наивной простотой и детской непосредственностью... Но вседесущий прогресс заменил грубые иглы нэповских времён более совершенным орудием производства — гитарными струнами. Современная татуировка отличалась чёткостью изображения и плавными теневыми переходами. Эти своеобразные лессировки углубляли рисунок, и он становился объёмным. Можно сказать, подкожная живопись шагнула вперёд. Наскальные изображения 40-х годов сменила ренессансная чистота линий. «Не хватало, — усмехнулся Демидов, — своих “барбizonцев” или “передвижни-

ков”! А может, какого-нибудь чокнутого реформатора вроде Ван Гога, чтобы он, согласуясь с эпохой, расцвётил шкуру космическим хаосом...»

Технология исполнения не блистала усовершенствованиями: струны и только. Но прекрасное таится в простоте. Впрочем, один сокамерник клятвенно заверял Демидова, что рисунок на его предплечье сработан бритвой... Теперь экзотических птиц сменили факелы в паутине колючей проволоки. Свстильник, как правило, держала рука в кандалльных железках. Если собрать всех, думал Демидов, можно устроить грандиозное «факельное» шествие. Ещё были розы, пронзённые кинжалами, большие, походившие на кочаны капусты паучки-крестовички. Перстни на пальцах и прочая чешуя, нечистоплотно мельтешащая на конечностях. На костяком плече Юры-Тушканчика синел плетёный погон группенфюрера, а на запястье Труболёта-Мики — детские часики, намертво слившиеся с кожей.

Иключение составлял Вася-Лобатый. Он недавно освободился из далёкой Ухты и вновь устроился на 5 лет за кражу денег из кассы. Лобатый сидел за утлым столом, изрезанным лабиринтами шеш-беша и читал Тургенева. В его руках была единственная книга, страницы которой не ушли в парашу. Тургенева уважали. Лобатый отрешился от мира и окунулся в трагедийные ситуации обманутой Джмы в «Вешних водах». На его широкой мускулистой спине красовалась Сикстинская мадонна. Татуировка была выполнена с толком. Но неизвестный художник, решая сложнейшую живописную задачу, видимо забыл о подвижности фактуры. Мышцы вальщика леса, привыкшего орудовать тяжёлой бензо-

пилой, никак не хотели привыкнуть к статичности. Поэтому когда Лобатый переворачивал страницу, правая щека маленького спасителя надувалась флюсом и глаз лукаво подмигивал, а штрихи на лице Мадонны собирались у переносицы в свинцовый фингал. При этом Святое семейство утрачивало все свои классические достоинства и больше походило на поездных попрошашек. Чтобы не загружать изображение лишними фигурами, художник начисто отмёл старика Сикста и пышнотелую Варвару, зато увеличил количество жирненьких ангелочеков. Справа у лопатки он поместил некий гибрид Эйфелевой башни и собора с вытянутым куполом и крестом, похожий на каркас телевизионной антенны. Демидов вдруг представил этого здоровенного молодчика — косая сажень в плечах — обнажённого по пояс, в шортах, в прохладных залах Ватикана... Или шествующего среди пиний с группой туристов по дороге в Урбино.

...Шелестящий говорок Смындины бросил чудом уцелевшего ребёнка из разбитого самолёта прямо в лапы обезьян. Смындин опустил туманные подробности его воспитания приматами и перекинул почему-то на другой континент продолжать образование в волчьем логове. Никого не смущала вольная тасовка географических широт: джунгли Африки и Индии слились в единое целое, отдав, однако, предпочтение на кафедре воспитания обезьянне Чите, которая и выдала диплом Жизни лесному проходе Тарзану-Маугли. Демидов вспомнил старый фильм с участием Джонни Вейсмюллера, стареющего сейчас в каком-то рекламном бюро в одном из городков Америки.

Кружок слушающих Смындины увеличился. Вкусную брехню он приправлял приключениями в замках и тюрьмах, неизвестно ком построенных в чащобе девственного леса...

На крайних нарах грузии Джонсон Лобжанидзе «поймал» новенъского. Джонсон был родом из Зугдиди и четвёртый раз, как говорят, попадал «за нож». Демидов никак не мог отыскать связь между его именем и фамилией экс-президента Соединенных Штатов. Сам Джонсон отвечал: «Так называли, не лезь в душу».

— Вот, дорогой, — говорил он новенъкому, который слез сверху, пользуясь случаем размять затёкшие ноги и закурить, — приехал я отдыхать в Ялту. Захожу в ресторан, жуки-пухи, заказываю то-сё...

Высунув из-под нар голову на грязном комке подушки, лежал Труболёт-Мика. Он слушал Смындину. Вместе с Тарзаном-Маугли он таскался по неведомым тропическим дорогам, одновременно кляня свой безбилетный круиз, который привёл его в мышеловку симферопольского вокзала. Теперь бродяжьей душе Мики приходилось привыкать к двум годам оседлости в неволе.

— Подходят дво! — повысил голос Джонсон. — Пойдём, говорят, выйдем! — я только с девушкой станцевал. — Зачем, говорю, дай покушать, выпить, жуки-пухи! Они — то да сё... Отойди, говорю, надоели. Они оскорблять начали. Оскорбляй, говорю, меня. Зачем нацию! Не поняли. Отойди! — кричу. — Жуки-пухи! Хочешь выпить — выпей, хочешь кушать — кушай! Не поняли. Просишь — получай! Схватил нож! Пропорол! Сзади платок повесил!

— Насквозь? — поинтересовался новенький.

— Насквозь! Вытер платком руки и на конец повесил.

— На какой конец?

— Не понимаешь? Конец ножа сзади! Торчал как вешалка. Дошло!?

— А он что, стоял?

— Зачем стоял! Сначала стоял, а потом упал! Менты прибежали. То-сё...

В тёмных глазах Джонсона метались кинжалные блики.

— Да, я тоже в Ялте подсел... — начал новенький, воодушевляясь совпадением места действия.

— Залётный? — поинтересовался Джонсон.

— С Донбасса я, из Красного Луча. Ну вот, иду я, значит, с пляжа нижней дорогой на хату. В шортах. Всё как полагается. Втёр сухаря пару стаканов в Поплавке. Погода — класс! И всё остальное... Вижу — стоит машина. Жигуль или Лада, не помню точно, а из кабины висит рука... — новенький помолчал.

— Дальше, — заинтересовался Джонсон.

— Ну, на руке — котлы и перстень с печаткой.

— Котлы рыжие?

— Нет. А печатка граммов на десять. Червонного.

— Ну-ну?

— Что ну? Фуцан в тлен бухой. Откинулся на сиденье, слони пускает. Тут меня жаба задавила. Дыбаниул — хвостов нет, на море всё спокойно. Пару раз толкнул его для понту, а он мычит и не телится. Тут я пальчик ему послюнил и тихонечко так свинтил рыжышко. А котлы сами соскользнули. Знать бы, что

у него в скуле четыре с лишним куска лежат — не бazarил бы здесь с тобой, на свободе по кабакам гуляя... — новенький вздохнул. — Это я на суде узнал.

— А как спалился?

— Деньги нужны были. С одной халвой связался... Приметил я одного бармена. Шустрый такой фуцан. Я ему за кусок всё и опрокинул. Котлы жалко, себе хотел оставить. Японские, с хрустальным стеклом. 50 лет гарантия...

— Ну, а бармен?

— Что бармен! Терпила очухался, написал заяву в ментовку. Менты послали шестёрок во все дыры, ну и увидели котлы у бармена. А бармен сразу — раскладку. Я уже чухать хотел... — новенький длинно выругался. — На автобану хлопнули. Терпила хорошим мужиком оказался. Летун с Дальнего Востока. Смеялся. Я, говорит, и не надеялся, что найдутся эти цацки. Принёс на суд передачу. Здоровенный чувал, там сало, сыр, сигареты. Клёвый мужик! А бармена козла... — он опять выругался. — Мы ещё встретимся!

— Сколько вмазали? — спросил Джонсон.

— Четыре. Хоть полтора месяца на свободе погулял!

Демидов не уловил, когда Тарзан-Маугли успел сбросить шкуры и выдуриться в шерифа Маккенну. Пока Демидов слушал новенького, Смындин нацепил на лесного человека потёртые джинсы киногероя вестерна. Теперь в лихо сдвинутом стетсоне он спасал кого-то от кровожадных индейцев. Фильм с участием пожилого Пека Смындин, скорее всего, не смотрел. Видимо, отрывки содержания, которые он где-то слышал, как раз

подходили для округления концовки с засадами, перестрелками и некоей Королевой Золота, которая вот-вот должна была появиться и внести в фабулу ясность. Но тут кульминационное напряжение расколол выстрелом голос Лобатого.

— Врёшь! — зло рявкнул он. — Брешешь! — Лобатый вскочил. Мадонна на его спине подпрыгнула, чуть не уронив младенца. — Мерин ты будёновский! Я фильм недавно смотрел, «Золото Маккенни» называется. Какая королева? Погань ты заёрзанная! Кому уши мозолишь?!

Смындин медленно сползал с высоты своего вымысла.

— Я роман... — промямлил он.

Лобатый смял его слабую попытку к оправданию:

— Я тебе дам роман! Кому гонишь? — он обвёл глазами камеру. — Им? Мне? Вот так, — рубанул он, — проглоти язык и заглохни! А если хочешь — гони что-нибудь путёвое!

Но Смындин уже «выхватил кольцо из расстегнутой кобуры»:

— Мордатое падло! — выпалил он. — Подельников нахватал, комсомольцев-детсадовцев. Сам гниёшь всю жизнь и их за собой?! Паук! — Смындин всаживал, как пули, правдивые и поэтому обидные слова в самое сердце Лобатого. — Не трогай меня, змей! — визжал он, разряжая барабан. В углах рта кипела бешеная пена.

На скулах Лобатого проступили меловые пятна. Он молча подошёл к решётке и достал мисочку с хо-

лодной кашей (её он всегда оставлял для позднего ужина) и также молча уселся на красненьк нар, как раз под логовом Смындина.

— Ему что? — не унимался Смындин. — Те пацаны подранками выйдут, калсками! А он, мразь, сидит, кишку топчет!

На мгновение над Лобатым качнулась голова Смындина. Этого было достаточно. Неуловимым боксёрским движением он припечатал миску с кашей к пергаментному черепу Смындина.

В камере стало тихо. Безучастные рамисты спрятали карты. В верхних этажах тюрьмы блуждал чей-то голос. «69! 69!» — взывал он. Ломкое эхо ударялось о стены и падало вниз осколками чьей-то тревоги. Звякнула и покатилась миска. Студенистая, липкая, как клейстер, каша пластом свисала с головы Смындина. Она напоминала медузу. Смындин брезгливо стряхнул её. Крупный шлепок залепил рот Труболёста-Мики. Он по-прежнему выглядывал из-под нар. Голодный Мика не стал раздумывать — он слизнул ошмёток и проглотил его. В дверях камеры яростно скрежетал ключ. Остаток каши Мика ребром ладони снайперски мстил в угол, к параше.

Первым из оцепенения вышел Юра-Тушканчик.

«Маленький мальчик на ветку залез, / Сторож Никита вынул обрез...» — скороговоркой затараторил он.

«Маленький мальчик пашёл пулёмёт. / Больше в деревне никто не живёт!» — с вокзальной щустростью сыпанул в ответ Мика... Реакция на «отмазку» у них работала чётко. Оба они деланно захочотали.

Дверь камеры распахнулась. На пороге, сопя, стояли два здоровенных контролёра.

— Почему шумим? — заорал один, прицельно взглядываясь в лица. — Отбой давно, мать вашу в гроб! Что, Лобатый, в трюм захотел?! (Видимо, во время камерной перепалки кто-то из них смотрел в «волчок».)

— Всё класс, командир! Стишки читаем, куплетики, — заслизал Юра-Тушканчик, — тихо, в полшепота...

— Знаем ваши стишки! Партию в шашки спокойно сыграть не дадите! Где вас, зверей, наловили? Слушай, камера! Вот так! Ещё раз кто хрюкнет — в момент бригаду массажистов пригласим! А ты, Лобатый, смотри, — малейший хипишь и — шнель в изолятор! Через минуту — он посмотрел на часы — если не будете лежать, вызываю ответственного. Он враз вас убаюкает!

Дверь резко захлопнулась. Смындин концом грязной матрасовки протирал лысину. На ней белели иероглифы шрамов. «Ничего, — шептал он, — всё получу! Гадом быть, рассчитаюсь!» Лобатый сел за стол спиной к Смындину. Успокоилась и плавно парила мадонна, прижимая к груди спасителя человечества.

— Там сейчас тишина, — тихо сказал Лобатый, как бы продолжая начатый монолог. — Всякие твари лесные... Выключишь, бывало, бензопилу и ляжешь в тёплый мох, как в перину. Смотришь в небо, а оно прозрачное, далёкое. Ленивая рыба двигает в старицах. Днём наловим, а к съёму костёрчик сообразим. Уха булькает, и мошка не так жрёт, притихает. Потом хлебаем уху из одной кастрюльки. И мы, и конвой, и каждый думает о своём. А воздух какой, братцы!.. А то — Королева Золота! Ты бы им лучше рассказал, как по

Воркуте шаркался — большие пользы. — Лобатый ткнул пальцем в сторону Смындина. — А насчёт подранков — брось, они парни тёртые, ни один не раскололся. На себя я всё взял. И иду паровозом... Эх, молодёжь, — вздохнул он. — Посмотрел я на них — смотреть не на что! — Лобатый сплюнул. — Куда ни глянь — везде эти додики-ландорики. Рожи холёные, и базарят только о тряпках. Жизнь что ли такая? Носили бы как раньше рубашку-косоворотку, сапоги «гармошкой». Аи, нет, нацепят штанишки с этими, с наклейками, — он поклонился себе по ягодицам.

— Лейблы, — подсказал эрудированный Тушканчик.

— Вот-вот, читал, что ковбои в таких брючках коровье говно таскают, у нас они скотниками называются. Так в этих брючках теперь везде: на танцы, в кино, в кабак. Да, куда хощь! — Лобатый сделал паузу и прикурил. — Длинноволосые куры, вот кто они! Ни украсть, ни на стрёме постоять! Пахать тоже не хотят. А пить-жрать давай... Всё с загранки сдирают. Тараахтелки эти, магнитофоны... У моей бабы дочка лет 15-ти...

— Твоя? — спросил новенький.

— От первого мужика. Своих у меня пока нет. Оно можно одного, двух, да возиться с ними некогда. А баба ждёт-не-ждёт, но после отсидки принимает. Справившись, был кто? Нет, говорит, вздыхает, не с кем изменять, Вася. Все путёвые мужики по лагерям рассованы. А тут одни алкаши! Рада бы, Вася. Да не с кем. Брёйт, конечно, стерва! Ну, да ладно, о чём это я... Ага! Так вот, эта дочка магнитофон замелила. Не наш, конечно. Каждый вечер музыка на полный аллюр. И эти

плакатные около неё тусуются... Пришёл раз ко мне корешок. Пузырь распустили, старое вспомнили... А оно ревёт не по-нашему: «Гоп, эй, гоп! Гоп, эй, гоп!» Корешок спрашивает: что это, Вася, танец маленьких лебедей?! Лошадей, говорю. Ты, братан, посиди тут пару минут, я сейчас таёжную тишину сварганю. Захожу в комнату, а они вихляются, трясутся, аж лаги трещат. Дым камерный! Травкой попахивает. Говорю, тише можно? Кто тут у вас глав-шпан? Подходит один повыше, глазёнки мутные, весь в этих... как Тушканчик, в лейблах? Что поделываете, спрашиваю. Да, говорит, дядя, хуи валяем и к стенке ставим.

— Так и сказал?!

— Да, Тушканчик, так и сказал. Ну, думаю, пироги! Вы, говорю, тут травкой балуетесь? Дали бы полбашника тоску развеять с корешком. А он мне, мол, дядя, не ломай кайфушу. Тут я злиться малость начал. Так бы цускай, их дело, но перед корешем стыдно. А этот сопляк меня ещё ручкой к дверям подталкивает. Огляделся — их, патлатых, штук пять. Ну, и — пацанки. Хорош, думаю, Василий Петрович, пора гасить планокерню. Оттолкнул патлатого, сгрёб эту радиолу — и в окно. Стёкла начисто вынес. А она, погань, и на улице: «гоп, эй, гоп!» Хоть бы что!

— Брешешь, Лобатый! — засомневался поднарный голос.

— Свободы не видать! Как на духу! Тут я начал по додикам загуливать. Пару штук в окно вслед за шарманкой выкинул. Остальные кто куда ломанулись. Одного только не тронул. Лежит на диване, рыгочет. Видно, перемкнуло, вольты пошли от травки... Пусть

балдеет, думаю. Прихожу на кухню, а корешка нет. Ну, думаю, братка хипши испугался, ментов. Правильно сделал. Пора и мне на лыжу становиться. Быстро сняко нацепил лепень, стольничек прихватил и по газам! Неделю по блатхатам шатался...

Как-то вечером, дай, думаю, загляну, барахилишко заберу. Захожу — тишина, покой. Сидят, телевизор смотрят. Привет! — говорю. Вскочила, обнимаст, слёзы... А я не бритый, подзарос малость. А она прижимается, говорит, не знала, где искать тебя, Васенька... Пацанка как побитая, глаза прячет, стыдно сий... Жизни они не знают, — философски заключил Лобатый. — На Север их надо, в дальние Оллы, где морозы — не про дыхнёшь, где вшивые бараки и беспредел, где только и думашь что о тёплых нарах и пайкс. Сосёшь сс ночь, а она сладче конфеты... Вот такие «лейблы»... А тс, — он неопределённо махнул рукой, — хоть за дело сели. Кассу взяли. Не за пьяного мужика-работягу, у которого кодлом рубль отнимают. — Лобатый смахнул капли пота. — Душегубка проклятая! — мрачно выругался он. — Ты, Коля, прости меня, дурака!

Фраза, адресованная Смындину, свежим ветерком прошлась по камере. Она сняла напряжение. В этой фразе смешались и сарказм, и горечь, и большое человеческое тепло, и жалость.

— Прости, браток, нервы! — устало, с хрипотцой в голосе закончил Лобатый. — Полез я снять. Прикалывай, Коля, что хочешь, больше я ни слова, — бормотал он, укладываясь.

Смындин обрадовано засуетился.

— Приврал я, Васёк, малость. Завтра такой роман приколю — ни в каких ваших Каннах не увидишь! А ужин ты зря перевёл. Есть у меня пайчишка хлеба. Если хочешь — бери, у меня всё равно — «желудок».

Лобатый молчал. Камера затихала.

* * *

Они спали, и в душной тесноте казались по-детски беззащитными. Они лежали борт к борту как потрёпанные суда, которые ураганы и штормы собрали в тихую гавань. Тихо тикали часики на руке Труболёта-Мики, отсчитывая тягучее время оседлости. Закрыли лепестки розы. В них словно роса застыли капли пота. Съёжился плетеный погон, лишённый власти, на плече Юры-Тушканчика. Закрыл глаза разговорчивый Смындин. Он, казалось, впал в нирвану и походил на старого йога. Вздрагивали веки Джонсона. Он и во сне оборонял от врагов нации далёкий Зугдиди. Между холмов-лопаток Васи Лобатого чутко дремала Мадонна...

Демидову виделся остров Норфолк, затерянный в волнах океана в Южном полушарии. В каком-то журнале он прочёл, что там живут простые честные люди. Нет разбоя и краж, и жизнь патриархальна и чиста. Чужого там не принимают. Когда-то на остров ссылали каторжников. Потом появились матросы с мятечного брига «Буанти». Теперь на старом кладбище перемешались могилы. Но в воскресенье на источенных ветрами камнях можно увидеть цветы.

И не важно, чья это могила — каторжника или мятечного матроса.

Сонный сосед Демидова случайно поймал вошь. Он держал её на расстоянии и тупо рассматривал. Чему-то усмехнувшись, он щёлкнул на ногте напитанное кровью насекомое и вновь окунулся в сон. На его худой руке приближённая к глазам Демидова и поэтому увеличенная синела латинская надпись. Рука качнулась, и надпись, как лозунг, ударила в мозг. Демидов прочёл: «*Dum spiro spero!*»¹

г. Торез, 12.12.79 г.

¹ «Пока живу — надеюсь» (лат.)

ЖЕСТОКОСТЬ

— Ну, стариk, сколько мы не виделись? — приветствовал Демидов подсобного цехового рабочего Веригина.

Встреча состоялась в узком проходе между секторами во время ужина. Веригин наморщил пергаментный лоб.

— А правда, сколько? Может, два, может, три месяца, а может, все полгода...

— Как дышишь? — продолжал Демидов.

— Дышу, мучаюсь! А ты?

— Всё там же, в гараже. А где мне ещё быть... Слышал, жена на свиданку присажала...

— Было дело, приезжала, — с расстановкой и както нехотя ответил Веригин.

— Рассказывай, что дома?

— Дома как дома — всё по-прежнему. Только с продуктами на свободе туговато! Нет того, сего. Плачутся! Нам бы их горе после черняшки и каши... Стоят: «Мясо урезали, масла нет!». А ведь кроме этого столько жратвы всякой. Без мяса этого и масла! Эх, люди! — Веригин сплюнул и полез в карман за сигаретой. — Ты чего сейчас делаешь? — спросил он.

— Да вот, стою, с тобой чирикаю...

— Не занят?

— Как видишь!

— Тогда пошли ко мне. Фотки я со свидания вынес! Сынка моего, покойничка, посмотришь.

...Хлюпая талым снегом, они вошли в локальный сектор и, подталкивая друг друга, поднялись на второй этаж в отрядную секцию.

— Сидай! — пригласил Веригин. — Я сейчас фотки достану.

Демидов присел на засаленное одеяло нижней койки.

Веригин тем временем потрошил тумбочку, выбрасывая на пол разнообразие всяческого хлама. Наконец он извлёк дерматиновый подсумок, из которого торчали несколько конвертов и обрезки оберточной бумаги непонятного назначения. «Где они, где они... — бормотал зек. — Вот они!». В его руках появился крупноформатный серый конверт. «Гляди, тут три штуки».

Демидов извлёк фотографии. Изображение на них было предельно чётким. Чёрно-белые, глянцевые, размером 9x12 снимки поражали правдивостью запечатленного. Фотограф, видимо, спешил. Он искал эффективных ракурсов, а запросто согнал присутствующих в одну кучную группу. И это придавало неподвижным сценам особую монументальность и жизненность.

— Вот жинка моя!.. А это — сынок, — пояснил Веригин, тыча жёлтым прокуренным пальцем в лица запечатленных. — Слёзы привезла. А зачем?! Не знаю.

На всех трёх фотографиях центральное место занимал гроб. Лежащего в нём юношу оплели траурные ленты, рушнички. Из головье форсистым плюмажем украшали цветы, живые и бумажные. И из этой риту-

альной, но какой-то несправедливо-легкомысленной мешанины смотрело заострившееся лицо покойного с резко выступающими костями черепа и приоткрытым ртом, в котором торчали кривые скошенные зубы.

— Вот он, средиенький мой, лежит! — вдруг побабы всхлипнул Веригин. — Царство небесное!

— А это кто? — пытаясь отвлечь его, спросил Демидов, не терпевший мужских слёз.

— Это? — Веригин звучно сопнулся. — Всякие... Вот, к примеру, сноха.

Молодая, приятная женщина склонилась к умершему. В лице её застыло неподдельное отчаяние и скорбь.

— А это братья бабы моей двоюродные. Сашка и Юрка. А это, — он опять всхлипнул, — его, покойничка, братишко старший, первенец мой! Есть ещё и меньшой, да из армии не доехал, в Чите служит...

Повторно оглядывая фотографии, Демидов более внимательно всмотрелся в обособленно стоящую жену Веригина. Пожилая, кряжистая, в коконе огромного платка, она застыла в напряжённой позе. Тонкогубое надменное лицо отмеряло минуты прощания. И не чувствовалось в ней той особой материнской расслабленности после большого горя, а только упрямая отрешённость, неприятно схваченная мгновением.

Мысли Демидова пытались проникнуть за кадр, раздвинуть эту трагичную в своей обыденности сцену. Он знал, что где-то там, вне сферы объектива, уже урчит катафалк с привычно-безучастным шофёром в кабине, что вот-вот в фургон втолкнут гроб и мёртвого помчат к мёртвым, а живые, отплакав, отстрадав, сольются с живыми, чтобы в итоге пройти по тому же пути...

Веригин сопел, двигал бровями и бубнил: «Зачем, спросить, фотки привезла? Будто новый приговор какой! Ведь знает, курва, по всем статьям страдаю, и ещё двенадцать лет страдать. А тут на тебе — бац! Как врыло въехала! Ну что ж, поди, довольна теперь... Казни, сыночек, казни, родимый! — не сдерживая слёз, шептал он. — Нет мне, бандиту, прощения!..» Веригин перебирал фотографии. На бледных щеках его зацветал нездоровы румянец.

— Остынь! — попытался успокоить Демидов. — Время всё затрёт, — он положил руку на плечо приятеля. — Пора мне топать, Коля, а то все калитки запрут! Проверка скоро. Пошёл я покуда...

...Веригин ничего не слышал.

* * *

Ночью Демидов не спал. В груди отмирали спёртый воздух секции. Нервы взвинтил трудный перекрученный день. Из тяжких снов вырывались стена-ния спящих. В недобрых позах разметались тела, подсвеченные в окна дежурным прожектором. В памяти всплывали погребальные фотографии, и всё вместе будоражило нервы. Долгожданная ночь захлебнулась в бессоннице. Демидов в который раз пытался осмыслить трагедию Веригина... Год назад тот в пьяной ссоре кухонным ножом подрезал сына. Через месяц, когда Веригин был арестован, юноша скончался в больнице. Суд подвёл итог случившемуся: 13 лет строгого режима. На процессе, со слов Веригина, жена просила исключительную меру наказания. Но время обточило углы. В семье Веригина притерпелись к несчастью.

Жена стала приезжать на свидания. И сейчас, в лапах каторжной ночи, Демидов пытался дать анализ последнему поступку Веригиной. Как никто, он знал, что Веригин пережил и горе, и смерть, смирился с собственной долгосрочной участью и был готов нести свой крест до конца. Тогда зачем, возникал вопрос, это страшное напоминание? Простое недомыслие и беспактность, конечно, отпадали. Неприятная догадка въедалась в логику. Всё походило на тонко задуманную месть — не иначе! Он старался вспомнить черты лица Веригиной, но не мог. Память отдавала лишь совокупность виденного, объединенного в одно: непримиримость. Ночь кричала ещё что-то, что он понять не мог и не пытался. Он видел сцену у гроба с подспудностью какого-то тайного смысла. Видел короткопалые сильные руки матери, будто всей тяжестью утраты давящие на боковинку гроба. Похоже, она в чём-то клялась покойнику, глядя в его открытый перекошенный рот...

С той памятной встречи прошло несколько дней. Как-то вечером, когда калитки секторов были открыты, Веригин заявил в секцию Демидова.

— Айда ко мне! — пригласил он. — Альбом я достал. Фотки теперь собирать буду! И просьба, значит, есть... подрисовать там кое-что, оформить вроде...

Демидов чувствовал себя скверно — болел желудок, идти ему не хотелось.

— Пойдём! — просительно повторил Веригин. — Баночку «Минтая» откроем. С отоварки бегу!

— Оставь свои баночки! — зло оборвал Демидов. Он поднялся и стал надевать телогрейку.

...Чёрный альбом с гуцульским мотивом на обложке выглядел довольно солидно.

— Открывай! — торопил Веригин. — Товарный вид потом будешь щупать! Лучше вовнутрь загляни и прикинь, что придумать можно. Может, цветики подрисовать какие — розочки или ромашки? Видал, как братва делает...

Ещё не открыв обложки, Демидов знал, какис фотографии увидит. И не ошибся. Тема с гробом повторялась трижды...

— Это всё? — с прорвавшимся схидством спросил он.
— Всё. А что ещё надо?

— Ну, браток, для трёх фоток (он хотел сказать «с гробом») альбом покупать?! А другие снимки где возьмёшь?

— Перешлют, — неуверенно буркнул Веригин. — Время ой-ой сколько! Недавно мымре своей ксибу отгнал. Может, получу скоро. Дома у меня фоток хватает. Ребята на днях обещали бумажки глянцевой достать, — добавил он. — Вклевывать между листов буду, чтоб фотки не тёрлись. Ты лучше скажи — розочки на окантовку пойдут? Может, возьмёшь альбом, подрисуешь чего...

Раздражение Демидова нарастало.

— Подумать нужно, — ответил он уклончиво.

· · · · ·

...Что было надо, Демидов осознал гораздо позже. В Веригине объединилось многое: боль утраты, сознание вины, несостоятельность оправданий, тягость раскаяния, тщета дальнейшего существования, — всё, всё сводилось к единственной мысли и уже управляло им.

Остальное являлось отсрочкой. Юноша с кривыми зубами вносил поправку в приговор. Она добивала Веригина.

В последний раз встреча произошла в столовой. С Веригиным он столкнулся лоб в лоб. Тот был чумазый, прокопченный, насквозь пропахший цеховой гарью. На землистом лице словно бутылочные пробки, втоптаные в грязь, тускнели усталые «зенки». Демидов тронул его за руку:

— Здоров!

Веригин встрепенулся. Но поток отобедавших уже толкал его к выходу. Тогда, сшибаясь с напиравшими, Веригин рванул назад.

— Застикал меня сыночек! Зовёт! — доверительно прошептал он в самое ухо Демидова.

Непременность желания возникла тотчас: забрать альбом! Сегодня. Обязательно! Изъять напоминание. Рисовать, клеить, лепить... Розочки. Может, ромашки... День, месяц, год. Весь оставшийся срок... Но внутренний голос, преломившийся в призме самовиновности, кричал: «Остановись! Ты ничего не изменишь!.. Так лучше...» И он не пошёл к Веригину ни в этот день, ни в следующий.

В один из серых дней февраля Веригин повесился. Позже Демидову показали место его смерти на одной из железнодорожных ферм под кровлей цеха. Веригин не оставил посмертной записи.

Как положено, сообщили жене. Она приезжала, но труп ей не отдали. По лагерным законам самоубийц свободе не возвращают.

«Ну что ж, — с горечью отметил Демидов, — отпала возможность сделать несколько итоговых фотографий». А ещё в тот день Демидов хотел найти человека, с которым можно поговорить о Веригине — сказать хоть пару приглаженных поминальных слов, но не нашёл к кому обратиться. Тогда он сел и, подгоняя обрубки фраз, стал писать на свободу.

Торез, 23.04.82 г.

ТЕРЕНТЬЕВНА

Когда очередь вдавливала Демидова в оконце ларька, он всегда волновался: вдруг что-то не так в записях, вдруг нет двух рублей производственных, вдруг неожиданный запрет — и он лишен отоварки... Этих непредвиденных «а вдруг?» в условиях лагеря случалось много... Завидев в глубине оконца знакомую головку с забранными в седой пучок волосами, Демидов на секунду замирал и, стараясь придать хриплому голосу вежливый тон, говорил: «Здравствуйте, Терентьевна!» «Здравствуйте!» — отвечала женщина и, не спрашивая фамилии, ловко выдергивала его карточку из десятка других. «На пятёрку?» — улыбалась она. «Да! — кивал Демидов, — на все!» Бухгалтерша производила отчисления, вносила в графу «остаток» и подавала лицевой счёт на подпись. Очередь немедленно двигала Демидова вперёд, к следующему окну. Бумажку с фамилией и особой отметкой Терентьевна переправляла брюзгливой, несговорчивой продавщице.

Купив сигарет, чёрствых пряников, дешёвых конфет и маргарина Демидов выдирался из толпы. А мысли ещё ласкала добрая улыбка Терентьевны...

У отоварки-праздника были короткие мгновения... «Демидыч! Пряничком угости!» «Дед, дай конфетку!». Наволочка с продуктами быстро опустошалась. Только курева не просили — с куревом было тugo...

...Сунув в беззубый рот бетонной твёрдости пряник, он прикидывал, что можно съесть сейчас, а что оставить не завтра... Ржу пряника постепенно разъедала слюна, и Демидов наконец проглатывал скользкий кусочек, приятно пахнувший ванилью и свободой. Рассовав по полкам долгожданную вкусную снедь, он забирался на верхнюю полку и кайфовал.

Письма с воли приходили не часто. Варясь в собственном одиночестве, он иногда вспоминал Терентьевну, думал о ней... Наивные сравнения заставляли выделять себя из числа других, а каждое слово, сказанное бухгалтершей, наполнялось особым, только ему понятным смыслом. «Сколько сей лет? — пытался определить он. — Пятьдесят? Шестьдесят?..» Вопрос, на самом деле не существенный, рождал нелепое любопытство. В итоге Демидов находил, что у неё милое лицо, живые карие глаза, быстрые красивые руки. А седина даже шла к её облику. Фантазируя, он представлял Терентьевну омоложенной, гимназически юной в коричневом форменном платье, значительной, но — робкой в первых своих чувствах... И однажды пришёл к выводу, что гимназия отошла в прошлое ещё до её рождения, и учиться она могла только в нашей советской школе. А сеё он поставил себе цель — обязательно узнать её имя. Хватит — Терентьевна да Терентьевна. Даже неудобно както... Со временем у Демидова появилась некоторая влюблённость в неё. Впрочем, вполне объяснимая: он три года не общался с женщиной...

Как-то, когда Демидова перевели из отряда в отряд, и его карточки в означинной отоварке не оказалось, Терентьевна поверила ему в долг.

«Какая она в быту? — пытался представить себе Демидов. — Наверное, непрятательна к домашним, ровна, покладиста». Ему почему-то казалось, что Терентьевна непременно умеет печь вкусные пирожки. «С печёнкой», — домысливал он, и рот непроизвольно наполнялся слюной...

В одну из отоварок, когда в ларьке было не так густо, Демидов успел перекинуться с Терентьевной нескользкими фразами. «Скоро у вас половина! — подбодрила она, глядя в оконце. — Два рубля прибавят. Будет легче!» «Вы ошиблись, Терентьевна, — возразил Демидов. (Опять забыл узнать её имя.) До половины мне ещё далеко!» «Да, да, простите, — сникла она, сверяясь с карточкой, — у вас...» «Десять, Терентьевна! — бодро отрапортовал Демидов». «Да, десять лет... Вы уж извините меня, пожалуйста!» — добавила она и с грустью посмотрела ему в глаза.

.....

Начинался март. Ярким пламенем разгоралось солнце. Оно купалось в прозрачном небе, наполняя суженный лагерный мирок обновлением и надеждой... В эти чистые дни работа не утомляла, а бодрила... В гараж, где трудился Демидов, под вечер привезли бензин. Он сгрузил бочки и вдруг заметил в углу несколько примятых прутиков мимозы. «Отнесу Терентьевне! — мельнула шальная весенняя мысль. — К 8 Марта! Ведь сегодня предпраздничная отоварка!»

Он собрал прутики, обмыл их под краном и спрятал в рабочий шкаф.

Близился «съём», и с его приближением Демидов стал думать, что же он скажет Терентьевне. Пожалуй,

начну так: «Терентьевна!». Но дальше ничего не приходило на ум, а он знал: нужно найти простые, душевые слова, искренность которых хоть на секунду окажется сильнее мысли: «Преступник». Ровно в пяти шагах от вахты Демидов украдкой поднёс ветви к лицу. От них, казалось, исходил нахальный запах бензина. Он тут же сообразил, что бензином пропах он сам, его одежда, руки, волосы. Он нёс ветви, и над ним никто не злословил. Настроение у всех было по-весеннему благодушным. Даже контролёр на вахте скромно улыбнулся...

Ларёк оказался на редкость пуст. У окошка топтались лишь двое...» Вероятно, днём отоварились», — смекнул Демидов. Он опустил ветви к ноге, и, ожидая удобного случая, готовил фразы: «Примите от души!», «Не побрезгуйте!» ...Наконец окошко освободилось. Демидов шагнул к нему, и сердце учащённо забилось. «Тер!..» — осколок готового сорваться слова застрял в горле. На него смотрели чужие, настороженные глаза. «Фамилия?» — спросила новоявленная. Демидов назвался. «На сколько отоваривать? На пять?» «Да, на все... А где?...» «...Терентьевна? — с ехидством продолжила женщина. — Как вы за день с вашей Терентьевной надоели!.. Не работает она! Ясно?!» «Жаль, очень жаль!» — рыкнул Демидов и разжал пальцы. Прутики неспешно скользнули на пол.

Через минуту их растоптали подошвы входящих...

...Вечером, после отбоя, когда погасили свет, к душе подкралась пустота.

А из репродукторов бодрый дикторский голос сообщил, что в Крыму зацвёл миндаль.

г. Торез, 20.03.82 г.

МУДАК

Моей сестре Ирине

Разобщённые, каждый в отдельности, заключённые 28-й колонии вызывали неприязнь, пренебрежение, жалость. Но иногда в стайной сплочённости просвящались, проявляя монолитную твёрдость.

Начну по порядку. Жил в лагере кот по кличке Мудак. Пусть женщина, которой я адресую этот короткий рассказ, не посчитает его вымыслом. Я написал то, что видел и чувствовал, чтобы внести свою скромную лепту в её понятие о добре и зле...

...Жил в лагере кот. Молодой, лет трёх. Как злы лагерные крысы отгрызли ухо шустрому коту, навсегда останется тайной. Весной кот худел, линял и напоминал тех бездомных животных, что бродят на городских свалках. Но ближе к зиме шерсть его лоснилась от сытости. Мудак лениво слонялся в локальных секторах и секциях, выбирая для сна одну из 1150 идеально за- правленных коек. Зэк, увидев кота на своей койке, воспринимал это как знамение...

Гаремом кот похвастать не мог. Две кошки, шелудивые и безучастные, видимо, вполне устраивали его. Мудак родился и вырос в зоне и, конечно, сравнивать

ему было не с чем. Возможно, одна из них являлась его матерью. Кошки выглядели на редкость непривлекательно. Первая, Белка, грешила разноглазием. Правое — жёлтое око — горело светофорной настороженностью, левое — видимо, была повреждена сетчатка, — мёртво белело, словно плевок в пыли. Вторую, Хаялью, отличала иная аномалия. Искривлённый позвоночник — кто-то «прорезал» палкой по хребту — вызывал извращённое внимание к ней, и увечье казалось не увечьем, а пороком, естественно вписываясь в не менее порочную окружающую среду. Нужно добавить, что заднюю часть тела кошка прижимала к земле, передвигаясь странными червобразными движениями.

Копек — не знаю, а Мудака в зоне любили. Он часто появлялся в прачечной и некоторое время обозревал то, что находилось на уровне его глаз. Затем медленно обходил знакомые по запаху места и нахально мочился на них тонкой игольной струйкой... Поблуждав таким образом, кот прыгал в люльку для белья под тёплым гладильным катком и запускал в деревянную обшивку сильные когтистые лапы... Однажды кота по недосмотру заперли в «прачке». Утром он бочком ускользнул. Почувствовав шкоду, я заглянул в тумбочку. Маргарин в банке походил на вспаханное поле — всюду виднелись следы кошачьей «дактилоскопии». Возбуждать «дело» я не собирался и простил кота, зная, как скверно запирать на ночь голодное животное.

Повторяю: кота любили. Беда нагрянула внезапно. Пришёл приказ: «Ликвидировать кошку!», а приказы в зоне не обсуждаются. Для начала изловили Хаялью и Белку.

Бродил слушок, будто их отнесут на свободу. Но, вопреки ожиданиям, животные очутились на вахте. По селектору из котельной вызвали смену кочегаров. Они неспешно явились, чумазо заполнив узкий проход помещения. Старший наряда безучастно посмотрел на шевелящийся мешок и прямолинейно заявил:

— Кошек приказано скечь! Кто возьмётся?.. Из санитарных соображений, — добавил он, слаживая ультимативность сказанного, — не положено в зоне. — Старшой вздохнул. — Не велено! Сколь бездомных людей, знаешь? Так вот, их везут сюда... А тварь бездомную, позволь спросить? Свалки, зараза всякая! Догоняешь?

— Ясно, — сказали кочегары, но кошек жечь отка-
зались.

На том и разошлись...

— Дела! — сказал старшой, сдвигая на затылок фу-
ражку. — Самим нести придётся. Хотя, стой! — он дос-
тал из ящика стола пачку чаю, раскрыл её и привычно
отсыпал на клочок газеты заварку. — Сейчас чифриста
поймаем! — довольно провозгласил он. — На эту отраву
клюнет!

Несколько минут старшой наблюдал в окно за ред-
кими движениями мимо вахты.

— Вот он, кричи!

— Осуждённый Бугаёв! — протараторил в микрофон
контролёр. — Немедленно зайдите в дежурную часть!

Бугаёв помедлил и обречённо подался к вахте. Вы-
зов не предвещал ничего хорошего...

— Здравствуй, Бугаёв! — приветливо начал стар-
шой. — Чайку не желаешь?

Кучка чая на столе среди папок и бумаг темнела
гипнотическим дополнением.

— Что требуется? — коротко отреагировал зек.

— Да, так, пустяки! Кошек в котельную отнести.

— И только?

— Нет, не только! Как бы это объяснить тебе...
Нужно их ликвидировать, скечь.

— Ах, это... — мысли Бугаёва, загипнотизирован-
ные чаем, искали способ урвать его. — Дело в том, начальник, — сказал Бугаёв бесхитростно, — что чай я не
пью! Бросил!

— Ну?! — удивился старшой. — Совсем?

— Совсем, начальник! Теперь я жую!..

— Зажёшь! — улыбнулся старшой, радуясь лёгкой
победе. — Мне нет разницы. Бери мешок и топай! Чай
твой, два с лишним «кораблика». 36-й! Не солома сто-
ловская!

— Дело в том, начальник, — заюлил Бугаёв, — что
без чая я не могу! Дал бы сперва зажевать! А там гово-
рить будем! А то кумарит, жилы в голове перепутались!

— Ну, что ж, бери... — поколебался старшой, —
только...

Заключённый мгновенно отправил заварку в рот.
Некоторое время слышалось чавканье и скрип челю-
стей. Они двигались, как мельничные жернова. В угол-
ках губ закипала пена мазутного оттенка... Когда по
времени кофеин был выжат, и сердце взвилось в удар-
ном толчке, Бугаёв звучно выплюнул в урну липкую
жвачку.

— Ну что, — спросил старшой, — пошли? Некогда
тут Муму водить! Проверка скоро.

— Куда? — спросил зек, глупея на глазах.

— Бери мешок! — взвился старшой. — Не тереби нервы!

— Не, начальник! — упрямко отрезал зек. — Что хочешь делай — не попсёу!

— Ах ты!.. — старшой хотел обрушить на него свалку ругательств, но неожиданно прорвалось совсем простое, домашнее: — Нечестный ты человек, Бугаёв! Заварку сожрал!

— У нас, — с достоинством парировал зек, медленно пятаясь к двери, — разные понятия о чести! Не понесу — и всё тут!

Старшой ошалело посмотрел на него, вскочил и с размаху врезал по шее.

— Вон, гумозник! — заорал он. — Рыло твоё запомни!

И началось! Дверь вахты не закрывалась. Входили, выходили, но никто не соглашался жечь кошек! Даже клятый чифирист «мокрушник» Хромов — и тот отказался. Он вышел побледневший, бубня: «Лучше 5 двуногих, чем двух четвероногих!..» Карманник Сенюшкин орал: «Бухенвальд! Крематорий! Ишь, «зондер-капо» нашли, гады ползучие!» Вызвали педераста Хрюню, но на пути к вахте его остановил авторитетный Анор:

— Смотри, поганка! — страшно зашипел он. — На чай клонишь — враз седло подправлю! — Но, вспомнив, что «седло» у Хрюни уже «подправлено», добавил: — Кошек спалиши — башку отрежу!

Но кошек всё-таки сожгли. Кто-то из контролёров швырнул мешок в топку. Говорят, вопль был ужасный! Кошачий дух вылетел в огромную трубу...

Мудак остался один. Отсутствие подруг не очень казывалось на нём. Кот по-прежнему слонялся среди напряженной лагерной сути. Но по странному несогласию стал всё чаще попадаться на глаза начальству. Приказано было изловить его и уничтожить. И тогда созрело решение. Авторитетный Анор, большой любитель животных, собрал сходку.

— Что, братцы, с котом будем делать? — Мудак лежал у него на коленях и довольно урчал. — Может, ты ответишь, мудила гороховый?

Кот, услышав знакомое созвучие, потянулся и сладко зевнул.

— Что делать будем, спрашиваю? — повысил голос Анор.

Молчание затягивалось не в пользу кота...

— Есть! — вскочил Лёня Живчик. — А что, если в вагон при погрузке?!

— Замётано! — золотозубо ощерился Анор. — Расход!

Отправить кота в рабочую зону не составляло труда. Можно было посадить его в один из тракторов, вывозящих продукцию, но Анор опасался, что кот мог застаться в нагромождении разнообразного заводского хлама.

— Нет! — упрямко и твёрдо сказал Анор. — Лучше сам понесу!

Утром, узнав, что подали вагоны, он густо намазал волосатую грудь маргарином и напялил огромную не по размеру куртку. Кота он посадил за пазуху. На «разводе» Анор прятался в гуще отрядных пятёрок, и доброе начало пронесло его через вахту...

Нужно сказать, что всё это время заключённый держался со спартанским стоицизмом. Поначалу голодный Мудак спокойно слизывал жир и не очень досаждал ему. Но когда кот стал рыться усатой мордой в подмышках, Анор свирепо захочтал. Зеки сочувственно шептали: «Погнал, Анорушка, свихнулся на пятом годике...»

Ступив в рабочую зону, Анор не выдержал и побежал. Мудака он вытряхнул в каштерке у сварщиков, и, отышавшись, послал троих колотить ящик. Сам же тем временем протирал тряпкой грудь, кляня всех животных на свете. По мере того, как грязный слой жира исчезал, проявлялась синяя морда другого, саблезубого животного из отряда кошачьих.

— Такого им не сжечь! — смеялся кто-то рядом, тыча пальцем в татуировку. — С потрохами схавает!

Ящик сколотили мгновенно. В него сложили подкормку коту: несколько картофелин, выловленных в лагерном борще, подтаявший маргарин, отнятую от желудка, вскрытую банку «Завтрака туриста», изрядное количество хлеба. В угол поставили жестянку с водой. Лагерный дурачок Гмыря, прослышиав о затее с котом, принёс большую дохлую крысу. Он стоял, держа её за хвост. Крыса сладковато смердела...

Ждали отправки. Шесть полувагонов заполняли добрые экспортные контейнеры. На их боковинах белели трафаретики: «Порт назначения — ГАВАНА — КУБА». Уже пришёл наряд из роты охраны для проверки состава, когда Анор тенью метнулся к солдату-первогодку из нацменов.

— Земляк! — начал он возбуждённо. — Кота хотим сплавить! Ведь сожгут! А он как родной, поверь!

Привыкли к нему. Кинь в вагон, выручи, братка! Вот... — он вынул свою единственную ценность — наборную авторучку, изготовленную лагерными кустарями, — возьми! Матери в Бухару писать будешь. От всех прошу — помоги!

— Ладно, давай! — согласился солдат. — Только быстрее!

К центру ящика привязали верёвку. Когда Анор запихивал туда кота, тот вырывался. В глазах его горела зелёная ярость.

— Злой... — заключил солдат, пытаясь погладить кота.

Мудак изловчился и полоснул его лапой.

— Вай, джеляб! — заорал солдат, стряхивая с пальцев капельки крови. — Кусает, скотина!

Мудак бесновался. Солдат, матерясь, забрался на каркас полувагона и ждал команды.

— Поднимай! — распорядился Анор, крестя груз неумелой щепоткой.

— Стой! Момент! — крикнул один из сварщиков, размахивая мелком для разметки. — Сейчас!

Он прыгнул к ящику и коряво написал на самой широкой доске: «VIVA CUBA!»

Мудак в прощальных конвульсиях топырил когти в щель, пытаясь ухватить скачущую руку.

— Всё! — крикнул Анор. — Пошёл!

Усилие — и ящик с котом скрылся за стенкой полувагона.

Состав тронулся. Его медленно тащил трос лебёдки. В открытые ворота нехотя вкатывалось солнце. Состав уплывал, часть его была уже на свободе. Ещё минута, и ворота сомкнутся. Мемориальной группой застыли за-

ключёные. «Живи, котяра!» — шепнул Анор... Дурачок Гмыря сдёрнул кепчинку и помахал ею. Глаза его уважнились глупой, болезнай слезой.

Я знал, что кота найдут при первой перегрузке. Но фантазия просила другого. Я хотел, чтобы одноухий лагерный кот попал в Гавану и метнулся навстречу карнавальному шествию где-нибудь на Ведадо мрачным вестником изломанных судеб. Чудес не бывает! А вдруг? Сердце громко стучало в клетке из рёбер!

г. Торез, 15.06.1982 г.

ЧУВСТВО НОВИЗНЫ

А. Васильеву

Привычная это работа — убирать с путей мусор. Мусора сегодня много, не то что в прошлые дни, он повсюду: между шпал, в крестовинах, даже на шейках рельсов. Прямоугольник лопаты «шахтёрки» выскребает остатки вагонной грязи из всех закоулков лагерной ж.д. ветки. Лопата в привычных руках, привычных движениях. Старая, отшлифованная до блеска лопата, отлично знающая своё дело. А десёк выдался такой, что работа не кажется надоевшей и постылой.

Сегодня второй день осени. Участок, на котором трудится Демидов, смотрится просторным, потому что нет под погрузкой-выгрузкой вагонов. Несработчая тишина. Ласковое солнце. Бархатистый ветерок овеивает открытую, прокопчённую солицем грудь. Неподалёку холм-тупик с островками чуть поблекшей, но с ёё зелёной травы, отдающей напоследок то, чем одарило её лагерное лето. На зелёных пятнах отдыхают подслеповатые глаза Демидова. Легче мыслится, легче дышится...

К тому же завтра — «праздник», отоварка в ларьке, когда жратвы возьмёшь на целых 5 рублей! Чего там только не записано! «Кильки в томате», «Минтай в масле», компот «Ассорти», соки — свекольный и яблочный — в маленьких стеклянных баночках, пряники... Вся

эта необычная снедь сулит пиршество, которого зек ждёт не дождётся. Насытился человек, отвалился к спинке койки... Мыслей никаких!

Думать о мирском Демидову давно наскучило. Поэтому как та, зазaborная жизнь отдалась от него на семь годков с хвостиком. Что за дела там, за забором?! Проблемы всё те же. Конечно, войны большие и малые... Беды! Страсти! Любовь — не любовь... Встречи, разлуки. Это, безусловно, в других пропорциях, нашлось бы и здесь, в зоне. А всё сокровенное казалось нереальным за невозможностью соприкоснуться с ним, обозреть, осмыслить...

Однообразие, монотонность каждого дня были постоянными спутниками. Неизменно жестокий режим не позволял расслабиться, побывать самим собой.

Демидов давно к этому привык, высовывая единственно приемлемый лозунг: «Терпи и жди!» Два этих слова соединились в единое понятие, вместившее в себя прожитое и не житое, а в целом, жизнь, скользнувшую под уклон. Лозунг стерёг его одиночество, привычка к которому спасала от случайных знакомств с их переменчивостью отношений, а значит, берегла нервы. Одному, показала практика, было спокойней, надёжней...

...Скребок лопаты — скребок в душе. Размытые кадры напоминали о чём-то, скорее всего о детстве, а когда в проекции их не оказывалось, накатывала зима. Пустая, холодная!

Тишина! Тихо-тихонько... На рельсах — солнце! А сами они вроде лучей, сходящихся в зелёной призме тупика. Он словно высветился, этот холмик земли, такой зелёный и необычный в тусклой серости асфальта. На

зелёном покрытии вновь отдыкает взгляд, и окружающее не кажется таким суровым и жестоким. Холм. А над ним тихая, глубокая синева! Воздух полон той особой новизны, которую ощущаешь в это время года. Голова прохладная, спокойная, особо просветлённая, будто ожидающая чего-то непредусмотренного в отпущенности тебе жизнью программы. Глядит Демидов в синее-пресинее небо, и возникает простая до глупости мысль: «Что может быть синее?..» Синяя животворная бездна с дном — чёрным космосом... И благостна эта синева, и ощутима, и радостна, и желанна — чистый божественный свет над отгороженной от большого мира землёй.

Обычно в подобные минуты Демидов ожидал его, и оно, наконец, приходило... Мозг запылал, заискрился. Сердце молодо погнало кровь. На мгновение он вознёсся над самим собой. И пришла радость, та самая, внезапно приходящая радость... Кто может объяснить её? Откуда она, эта радость? Из каких тайников души?

...Он слышал шелест листвы на опушке леса. Вдыхал запах цветущей лаванды. Он видел озеро в тихих камышовых берегах, он видел море. Спокойное, не бунтующее. Он ловил всем своим существом чью-то чистую с грустинкой улыбку. Слышал позабытый ребячий смех. Добрая, воскрешал голоса людей, живших когда-то и ушедших навечно...

...А ещё к нему в душу стучалось небытие... Такое простое, обычное и совершенно ис страшное в прохожести мгновений.

Октябрь, 1986 г.,
г. Торез

ЗЕМЛЯ¹

*Я вечности не приемлю,
Зачем меня погребли?
Мне так не хотелось в землю
С любимой моей земли.*

М. Цветаева

Я, как бы принюхиваясь, склонился над ямкой. Земля пахла луной. Это странное обстоятельство потащило фантазию дальше. Серебристый свет, напитавший землю, казался таким необычным, что кроме «запаха» луны я ещё почувствовал запах тайны.

«Глупый ты пацан!» — думаю я о себе сейчас. Кто может ответить, как пахнет луна, а тем более — тайна. Но в этом невозвратном далеке я чувствовал эти запахи, я был полон ими...

...Малая сапёрная лопатка, подаренная бабушкой Марфой, упрямо рыхлила чёрную тень, отбрасываемую одиноко стоящей сливой. Была южная полночь 1940 года. Детское сердце моё глухо ухало, охваченное властью необычного. Лунный свет украшал и множил эту необычность. Всё происходящее казалось каким-то колдовским ритуалом... Сейчас, по прошествии стольких лет, мне видится это так. А искал я всего-навсего к лад!

¹ Отрывок из повести.

Наивный пацан! Вспоротая лопаткой земля в одном из дворов привокзальной слободки, верно, пахла ис Луной и Тайной, а мыльной водой, что украдкой сливалась под дерево одна говорливая баба. Но дело не в этом. Конечно же, поводом для поисков клада послужил Марк Твен, а вернее, его герой Том Сойер. О нём в долгие зимние вечера мне читала бабушка. Прошло немало времени, прежде чем я вышел из «запоя» этой великой детской книгой.

Итак, земля из ямки понемногу выбрасывалась — я продолжал копать. Руки, не привыкшие к работе, напитала усталость. Возясь в земле, я озирался по сторонам, опасаясь чужого глаза. Но окна квартир, будто сковорившихся со мной, были тёмными. Только кошки с тeneвой бесшумностью спешили по своим кошачьим дслам.

«Стоп!» На лопатке что-то блеснуло! Серебряный дублон, не иначе! Сердце сходу застяжало между верхними рёбрами. «Карамба!..» Осколок бутылочного стекла! «Том, не торопись, — успокаивал я себя. — Выдержка, терпение — залог удачи!»

...И вот уже слух ласкает скрежет металла о металл. Боги! На ощупь — полоска оковы от сундука. Сердце вот-вот плюхнется в ямку. Лопатка отброшена. Рука кротом врывается в землю. Разочарованность, горечь обиды! На свет извлекается ржавый обломок обруча от бочки. Мгновения надежды гаснут, словно искоркиочных насекомых... А как мне хотелось прикоснуться к т а й н е! Повторите со мной слово «тайна», и вам сразу станет понятен его лихорадящий смысл. И уж если думать о прошлом мыслями настоящего, то, мне кажется, тайна всё-таки была. Она — детство.

Через год началась война. В городе завыли сирены. Под их аккомпанемент в центре запущенного, с усыхающими деревьями сада, мы, дворовые, стали рыть бомбоубежище, так называемую щель. Рыли дружно, с энтузиазмом, как говорят, и стар и млад. Так я во второй раз соприкоснулся с землёй. Мы, подростки, в таком важном и нужном деле старались не отставать от взрослых. Ковыряли землю до седьмого пота. В это время мне шёл уже 9-й год. Щель почему-то запроектировали не как предусматривала инструкция — зигзагом, а в виде прямого окопа с двумя лесенками-спусками. Утвердили и проектную глубину в два метра. Тогда я впервые увидел землю в разрезе. Вот как это сохранила память... Черная, а когда подсохла — серая полоска грунта постепенно переходила в белесо-жёлтую, продолжавшуюся до приличной глубины, а затем слившуюся с кирпично-красной. Из разговоров я понял, что кирпично-красный слой является глиной. Так называемым «водоупорным» слоем. Тонюсенькие голубатые прослойки полосили суглинок и глину и делали весь разрез похожим на огромный начинённый пирог. На самом дне нашего окопа грунт был вязким и влажным. Чувствовалась близость воды. Кстати сказать, рядом находился колодец, обложенный крупным известняком с зеркалом воды на глубине 3–4 метров. В то далёкое лето я почувствовал и навсегда запомнил запах земли. Парной, утробно-тяжёлый, он заполнял грудь, заставляя учащённо биться сердце. Поначалу я терялся в этом запахе, он угнетал меня, верно, потому, что в нём было что-то от тленя. Скорее всего, этому способствовали гниющие корешки усыхающих деревьев,

свисающие со стенок длинными прядями. Ещё меня будоражил запах воли. Слово «воля» я не мог охарактеризовать в достаточной степени, но с ним у меня связывалось видение бесконечных просторов. Почему — до сих пор не могу понять. Ведь простор и яма — понятия несовместимые... Тлен же, если говорить о нём, как о преобладающем запахе, напоминал приторно-смердящий запах увядавших цветов, чёрные лепестки и стебли которых я видел в дворовом сорном ящике.

По мере углубления окопа глинистая почва становилась всё жирней. Это ощущение подкрепляли жирные дождевые черви, ползающие под ногами. Я никогда не мог предположить, что черви обитают на такой глубине... Часто этих полезных рыхлителей почвы разрезало лопатное острие и у них начиналась длительная агония. Обе части червя кривлялись под ногами, пока кто-нибудь не выбрасывал их за бруствер. По наивности мне казалось, что где-то там, за пределами моих понятий, половинки червя непременно соединятся, чтобы продолжить жизнь.

Иногда над нашей работой, над вскинутыми в напряжённом внимании лицами пролетали самолёты. Они летели группами и в одиночку. И если то были немцы, небо тотчас полнилось разрывами зенитных снарядов — зенитная батарея стояла рядом с железно-дорожным мостом. Звуки стреляющих пушек и треск пулемётов заставляли нас вжиматься в стенки окопа. А когда воздушной тревоге давали «отбой», мы, пацаны, бежали собирать ржавые осколки зенитных снарядов. Странно, но, видимо, город не являлся стратегически-важным объектом — его не бомбили. А гул самолётов

имел отношение только к зенитным пушкам, вносящим определённое разнообразие в их безмятежный полёт. Нужно признаться, что за всё время войны я не видел, чтобы сбили хоть один самолёт. А уж к нашей работе авиация и вовсе не имела отношения. «Летят себе и летят, — думалось мне, — город великий! Дворов вон сколько, а самолётов всего восемь, или девять, или... вовсе один. И если даже станут бомбить, то какой бомбе до нашего захолустного двора?!»

Тревоги — тревогами, а землю из окопа бросать уже было некуда. Расползшийся бруствер занял почти всю середину двора. Чуть дождь — вязкое месиво липло к ногам и с проклятиями растаскивалось по квартирам. В такие минуты все дворовые ненавидели «щель», казавшуюся убогой, никому не нужной ямой. Но в остальные дни, особенно в дни чистого неба, каждый терзался мыслишкой, что две параллельные улицы, на которые выходил двор, находятся рядом с вокзалом, а это увеличивало вероятность бомбёжки. К счастью, самолёты, деловито летавшие над городом, почему-то его не бомбили, но зато засоряли небо листовками, медленно кружасшимися белыми голубями. Текст этих листовок сводился к следующему: «Сдавайтесь, и блага оккупационных властей вам обеспечены». Особого скопления войск в городе не наблюдалось. Защитных сооружений — тоже. Кроме противотанковых рвов, открытых на окраине города. Так что сдаваться на милость победителя оставалось только гражданскому населению.

Итак, бомбоубежище получило заданную глубину. И сразу встал вопрос о его покрытии. С подобающим обстоятельствам шумом, спорами, предложениями на-

чался поиск материалов. Что тут только не натащили?! Если определить всему этому какую-то последовательность, то получалось так: на несущие конструкции пошли обрезки старых рельсов — их дворовые мужики-железнодорожники привезли со станции на подводе. Когда рельсы были уложены, мы стали мостить на них разнообразный металлический хлам: спинки старых кроватей, печные плиты с треснувшим чугуном, ржавое кровельное железо, водосточные трубы, вёдра и тазики без днищ. Кто-то бросил в общую кучу оставы двух старых керосинок. А я добавил к горке металломолама примус с расплющенным бачком. Металлический лом мы сдобрали приличной порцией древесного хлама, а сверху набросали тряпичного утиля. Старуха Марфа хоть и клялась, что в щель не полезет, — могила, мол, не за горами, кинула на «алтарь» общего спасения драную перину, огромные пробоины которой проросли серым пухом и перьями. Старуха авторитетно утверждала, что бомба непременно завязнет в перьях, и от перины пользы больше, чем от всего громоздкого хламья.

Это утверждение дало толчок тряпичному движению. На кровле день ото дня росла горка ненужного в каждой квартире. Наконец пришло время засыпать «кровлю» землёй. Жёлтый верблюжий горб насыпали мы усердно. Трамбовали ногами, а затем обильно, для уплотнения, полили водой. И вот наступил момент, когда «щель», с какой стороны ни любуйся, была готова. Сооружение с чёрными провалами входовых выходов дышало боевой блиндажной суровостью. Вокруг творения рук своих собрались все дворовые. Лица

у публики были мрачные и немного скорбные. Такие лица бывают у людей на кладбище при спуске гроба в могилу. Но вот кто-то, рванувшись из оцепенелости, скатился в щель и бодро крикнул: «Никакая бомба не пробьёт!»

К войне постепенно привыкали, и щелью, кроме нас, детьворы, пока никто не пользовался. В одной из её стенок мы соорудили просторную нишу, куда поставили старую трёхлинейную керосиновую лампу без стекла. Лампу «оживляли» вечером. Коптящий язычок пламени пах керосином. Жёлтый, мерцающий свет его суживал околодамповое пространство, погружая дали в таинственный полумрак. Звуки внешнего мира почти не достигали слуха. Порою было так тихо, что слышалось влажное дыхание земли. Суглинистые пласти вокруг отсвечивали золотом, а толща земли казалась одушевлённой. В такие моменты мы говорили шепотом. Трудно сейчас давать оценку тому далёкому состоянию, но мне кажется, что тогда было не страшно, а непознанно-интересно и странно нам, детям, находиться во власти земли, чувствовать свою отторженность от мира, ощущать подземный «уют» в этой колыбели мнимой безопасности. У язычка пламени, ближе к нему, металась одинокая ночная бабочка... О чём тогда только ни говорилось! «Уши» земли ловили рассказы о домовых, леших, вурдалаках. О колдунах, колдовстве и привидениях. Иногда необъяснимо-страшно срывался со стены и падал комочек земли. Все вздрагивали. Напряжённая в лампадном свечении тишина сразу прерывалась, и кто-то нервным голосом вскрикивал: «Ой, смотрите, что это?!». Взгляды вязли в непрони-

цаемо-жуткой черноте подземелья, где круглились два мятущихся, горящих диким зелёным огнём кошачьих глаза. Мы старались вжаться друг в друга, не скрывая своей оробелости.

Страх! За период войны он подсекал мсня дважды. Этот страх я испытываю и теперь, когда слышу гул летящих самолётов...

Случилось так, что с дедом и бабкой я остался на оккупированной территории. Была жестокая зима 1942 года. Бесснежная земля путала своей зловещей остылостью. Подобных холодов даже старики не могли припомнить. Печи топили нехитрой домашней мебелью. И печь стала единственным местом, к которому неудержимо тянулись изголодавшиеся по теплу и хлебу люди. Помню, когда печь «говорила» теплом, говорили и мы. Остальное время — молчали.

В один из таких студёных дней я вышел на улицу пообщаться с соседской ребятнёй. У ворот напротив, укутанные по самые глаза, стояли Коля Гавриленко и Адик Красовский (Адик впоследствии исчез в гестапо).

— Смотрите, смотрите, — задрав голову, воскликнул Коля, — вон гуси летят!

— Не гуси, а дрофы! — поправил Адик. — Птицы такие большие, вроде гусей!

Адик был старше нас. Ему шёл уже 16-й год.

— Пацаны! А вон и самолёты!

Вслед за дрофами с востока на запад, на большой высоте летели восемь самолётов с красными звёздами на крыльях.

— Наши! — дико заорал я и ринулся к дому. — Восьмь! — срывая голос, успел крикнуть я. — Советских самолётов!

Но старики отреагировали на моё сообщение не успели. Сверху налетел неописуемый вопль, и «ахнуло» так, что показалось — стены дома отделились от фундамента, поднялись и вновь осели. Дед, бабка и я единым комом покатились по полу. Взрывом обвалило потолок и вышибло остатки стёкол. Второй взрыв расплющил что-то в ушах и сделал меня глухим. Я хорошо запомнил, как перед взрывом второй бомбы дед накрыл меня своим дородным телом. Третья бомба взорвалась где-то в отдалении. Ещё глуше прозвучали разрывы четвёртой и пятой бомб.

— Не по нам, не по нам! — истерично шептала бабушка. — Не по нам!

И вот наступила блаженная тишина. Она казалась живой, тёплой, светлой. Светлей самой прекрасной музыки была эта вдруг свалившаяся тишина. Она обласкала нас, успокоила, заставила подняться. Постепенно мы приходили в себя, отряхивали друг с друга извёстку. Высок у дедушки кровоточил. Он недоумённо растёр кровь ладонью... Комнату поначалу робко, а потом всё смелей и смелей начал оккупировать холод. Меня почему-то неудержимо тянуло на улицу. Впечатление сложилось такое, что первая бомба упала в центре двора. Но двор бомба пощадила. А как же щель? Она, конечно, была пуста. В самый нужный момент все о ней забыли. Бомба рванула на улице, возле нашей калитки. Когда я выбежал, воронка всё ещё дымилась. Пахло взрывчаткой, гарью, стылым железом. Вырванную из мостовой диабазо-

вую брусчатку расшвыряло далеко от места взрыва. Рваными кусками она синела во дворе и на улице. Одним из таких кусков (это выяснилось позже) был убит петух — единственная птица в соседском дворе, отрада бабки Федосьи. Земля в воронке была развороченной и чёрной-пречёрной. А глубь её пугающе-страшной. Через двор от нас, у двухэтажного здания, я увидел раненую женщину. Она полулежала, прислонившись спиной к ржавой водосточной трубе. Бесформенная одежда её была изодрана в клочья. А там, где должен был находиться живот, разверзлось кровавое парующее нутро с синевато-оскллизными кишками. Женщина, видимо, была без сознания. На моих глазах она умирала... Вскоре её подобрали немецкая санитарная машина.

Я ещё раз подошёл к воронке. С неба, которое быстро затянули тучи, срывались мельчайшие кристаллики льда. Они оседали на вспоротой взрывом земле и тут же таяли. Воронка притягивала как бездна. В ней было что-то противоестественное, жутковатое. Она казалась раной земли, в самой глубине её плескалась чёрная, жирная вода чем-то очень напоминавшая кровь.

— Вэк! — раздалось у самого уха. — Цурюк!

Меня прогонял подошедший с перекрёстка улиц немец-регулировщик.

На страх погоде это был кокон из военно-гражданской одежды. На сапоги были напялены огромные соломенные лапти. От человека в нём остался побелевший кончик носа да влажные, настороженные глаза.

— Домой! — уже по-русски произнёс он. — Иди домой, малчик!..

* * *

Вторично я подвергся страху ранней весной того же года.

Заметно потеплело, слежавшийся снег никак не хотел таять. Дул нехороший порывистый ветер, гоняя по небу грязные клокастые облака. Неожиданно кто-то из сверстников, с которыми я слонялся возле двора, крикнул, задрав голову в небо: «Смотрите, пацаны, дрофы!». Это было как предупреждение, как сигнал моей покалеченной при первой бомбёжке психике: «Врёте, немцы!.. Русские!.. Теперь меня не проведёшь! За дрофами летят самолёты! Я знаю — они должны лететь!» Страх, истерика толкнули к действию. Во всю силу детских ног я рванул не домой, как уже случилось однажды, а прямо в спасительную щель. Снег сгладил ступеньки. Мгновение — и я съехал на заднице под защиту внушительной кровли. Сжалвшись в нервный комок, всё моё существо ожидало бомбового удара. Но небо почему-то молчало. От промёрзших, покрытых инеем стен веяло могильным холодом. Было одиноко, страшно. От холода и нервозности меня сотрясало дрожь... Прошло минут 15, и я решил высунуть нос наружу. Вокруг была благодатная тишина. На лестничной площадке дома напротив немецкий солдат, насвистывая весёлый мотив, чистил винтовку. Девочка Лия осторожно несла неполное ведёрко воды. Тяжело поднимался из подвала старик Самошин. Взбудораженное моё сознание попыталось дать анализ происходящему. Стоп! Что же это?! Я еще раз недоумённо огляделся... Ведь двор-то чужой, соседский! Только сейчас я начал соображать, что, ослепнув в страхе своём, перепутал дворы.

* * *

Весной и осенью одну из улиц, куда выходил наш двор, «развозило». Об этой улице сложилось стойкое понятие: «Ни пройти — ни проехать!» Это была не улица, а какая-то квашня с чёрным месивом-тестом. В ухабах и рытвинах стояла зловонная вода. Здесь, среди горок печного шлака и другого домашнего мусора, под одним из старых деревьев долгое время горбился «инвалидный холмик».

Это случилось в первые месяцы оккупации. К нам, мальчишкам, приблудилась старая, большемордая собака. Дворняга, но от породы в ней что-то всё-таки было. Палевая с рыжинкой овчарочья шерсть да огромная голова с торчащими ушами. Собака была большой и очень доброй. По рассказам взрослых, раньше она несла сторожевую службу в расположенным рядом «картофельном» городке, в котором немцы сделали лагерь военнопленных. Животное хромало на правую лапу. Хромота была стойкой, и, вероятно, по этому признаку кличка пса была Инвалид. На кличку он реагировал, ластился к нам, позволял трепать себя и гладить. Зная с кем имеет дело, пожилой пёс относился к нам снисходительно. Дошло до того, что на нем стали катать годовалого ребёнка. Нужно добавить, что предпочтения кому-то из ребят Инвалид не отдавал. Пёс был общий, и кормили мы его сообща. Кто притащил кусок сухаря, кто постного супу в консервной банке. В каком дворе он ночевал? Об этом никто не знал. Но каждое утро, виляя хвостом, нас встречал на улице

Инвалид, вплетался в игры, добро «улыбался» нам, добро глядел на нас оранжевыми, по-человечьи выразительными глазами.

Беда оглушила внезапно. Это случилось в ранних осенних сумерках. Стояла пора листопада, но снег не дошёл. Мы, ребята, группкой сидели на известковом бордюре, предаваясь какой-то незамысловатой игре. Инвалид, конечно, возвышался над нами. Эх, собака, собака! Не чуяла ты обострённым шохом своим, что с конца улицы приближается смерть твоя... Немецкий фельдфебель, быстро вышагивая, вскоре поравнялся с нами. И пёс сорвался! Шерсть на загривке встала дыбом. Жёлтые клыки осветили огромную крапчатую пасть. С хриплым лаем Инвалид бросился к сапогам фельдфебеля. В первые секунды перед громадной собакой немец опешил. Но тут же напёрся — солдат есть солдат — и быстрым, скользящим движением правой руки выдернул из чёрной кобуры большой воронёный пистолет. Он что-то прокричал в нашу сторону, что — мы не поняли, вскинул руку и почти в упор всадил две пули в собаку. Инвалид успел отбежать на середину улицы и как-то тяжело, неуклюже повалился на бок. Немец погрозил нам пальцем, сунул пистолет в кобуру и, как ни в чём ни было, зашагал прочь. В дорожной колее отметинами расправы поблескивали две стреляные гильзы. Первой на происшествие отреагировала девчонка Валька. «Дурак! — вслед уходящему немцу сквозь слёзы пропищала она. — Дурак несчастный!» И добавила худое, скверное слово, которое от неё никто, никогда не слышал. Видимо, исчерпав этим запас ругательств, она прикрыла глаза ладошками и неудержимо, горько заплакала.

Немец был уже далеко. Мы, окружив собаку плотным кольцом; подняли трагический галдёж. Инвалид умирал. Кто-то принёс и подстелил ему под голову соломы. Слышалось горестно-ласковое: «Инвалид, Инвалидушка!» Собака ещё внимала нам. Пыталась лизнуть чью-то руку.

Большой добрый друг уходил из жизни. Из маленькой дырочки в боку вялыми толчками сочилась густая тёмно-вишнёвая кровь. Тяжёлое, редкое дыхание, нить слюны из пасти говорили о том, что минуты животного сочтены. Агония была короткой. Пёс дёрнулся, тяжело, по-человечьи вздохнул и замер навсегда.

Шло время. Землю холодила осень. Затем наступила слякотная постылая зима. Труп собаки оставался там, где её застала смерть. Убрать? Закопать? Об этом никто не думал. Труп Инвалида постепенно разлагался. Его мочили дожди, покрывал снег, обдували ветра. Он усыхал, сплющивался. Вылезла шерсть. Стала дырявой посиневшая шкура. Исчезли в тёмных глазницах остекленевшие глаза. Время постепенно уничтожало того, кто ещё недавно, прихрамывая, бегал всюду за нами, лизал руки, вилял хвостом... На месте гибели пса вырос заметный холмик. Мы назвали его «Инвалидный».

Земля прикрыла собаку. И, спустя годы, я, проходя мимо этого места, всегда вспоминал: здесь, в южном городе Симферополе, на улице Кондукторской, возле 30-го номера, под окнами квартиры, где теперь живёт уже девушка Валька, в полутора метрах от старой акации находится стёртая временем «могила» животного.

Повзрослев, я вспоминал об этом с обострённой грустью. Улицу покрыли асфальтом. Но для меня Инвалидный холмик не исчез... Если же вдруг когда-нибудь на этом месте вскроют асфальт и чуть углубятся в землю, то непременно наткнутся на горсть костей и большой, раздавленный собачий череп, а может быть, и на две пули от парабелума.

* * *

Смерть всегда вызывает душевную боль. Смерть же близкого человека потрясает! В начале зимы в моё детство вошла трагическая кончина дедушки. Это случилось в начале декабря 1944 г. На всех фронтах немцев теснили. Уже была отвоёвана часть Украины. Прошёл слух, что гражданское население нашего города будут сгонять к морю и грузить на баржи...

В последнее время дед страдал «водянкой» — отекали руки, ноги, и, конечно, ни о какой эвакуации речи быть не могло. Шёл ему тогда 67 год.

И вот однажды, находясь в смежной с кухней комнате, дед перерезал себе горло. Нас с бабушкой взбудоражили хрипы и какой-то нечеловеческий клёкот, в котором слышалось слово «прощай!». Мы вбежали в комнату. Окровавленный дед полулежал на кровати. Рядом на полу валялась опасная бритва.

Кровавым «ртом» глядела на меня огромная пульсирующая рана.

Повсюду крови: бельё, пол. Кровь на белёной стене и спинке кровати... Я впервые видел这么多 крови. От её запаха меня мучило.

— Что ты наделал, зачем... — чужим голосом спросила бабушка. — Кто будет теперь возиться с тобой?..

Дед пытался что-то сказать, но губы кривили лишь булькающие кровью хрипы. Произнести взятое он уже ничего не смог. Исступление, боль, страх смерти расширили небольшие его глаза. В свете коптилки они казались огромными.

Чтоб дать толчок действию, бабушка стала злиться.

— Дурак ты старый! — сквозь слёзы роняла она. — Зачем, зачем столько крови?! Ты ведь жив, жив? Ох, господи, боже мой! Лучше б повесился!

Но руки санитарки уже делали своё дело — рвали на полоски простыни, обматывали — пеленали вспоротую шею деда.

— Уйди! — будто только заметив меня, истерично крикнула бабушка. — Нечего здесь!..

Не помню уж каким образом появился кто-то из соседей. Затем начался поиск подводы или линейки. Вскоре гужевой транспорт был найден и, несмотря на комендантский час, деда увезли в больницу.

Ночью он скончался.

Дедушки не стало... Эта первая в моей жизни смерть близкого человека переполнила душу глубинной скорбью. Шепот одиночества сквозь слёзы рвался в пустоту комнаты, в пустоту отдалённых пространств, в пустоту всего мира, о котором я толком ещё ничего не знал. А может, шёпот этот оседал во мне, сгорал во мне, в моей маленькой сущности?.. Кто-то твердил, что дед уже никогда не нарисует мне голову лошади, как умел рисовать только он. Никогда не прикоснётся к душе добрым словом... И никто теперь не прикроет меня своим

телом в минуты смертельной опасности. Дедушка!!! Что же осталось после тебя?.. Светлая, чистая память! А ещё в углу под вешалкой остались высокие сапоги с галошами, сохранившие форму твоей ноги. Я помнил эти расхожие сапоги столько, сколько помнил себя. На вешалке долгое время висел твой коричневый пиджак в полоску с потёртыми лацканами. Впоследствии бабушка перешла его на меня. Над пиджаком висела фуражка со сломанным козырьком. Пойманная взглядом, она сразу напоминала о тебе. А ещё сохранился твой запах, дедушка! Запах родного, близкого человека. Запах этот долго присутствовал в доме — очень долго. Но с ним слился особый, тревожный запах беды, так искромсавший, так исковеркавший жизнь...

Хоронили мы деда вчетвером. Кроме меня и бабушки, на линейке сидел соседский пацан Толька да постоянно бродившая с нами, мальчишками, девчонка Валька, о которой я упоминал выше. День выдался не-настным, слякотным. Спорый, холодный дождь молотил в крышку гроба, жалил лица, подстёгивал худую грязную лошадёнку, понуро тащившую печальный груз на скром земле.

У меня перед глазами всё ещё — одутловатое, бу-мажной белизны лицо дедушки, когда его выносили из мертвца, и восковая капля какой-то жидкости, медленно ползущая из правой ноздри. У въезда на кладбище дорога круто пошла в гору. Мы разом скочили с линейки и стали дружно помогать лошади. На западном склоне кладбища, среди нескольких свежих могил, нас ожидали два старика-могильщика. Общими усилиями мы сняли гроб с линейки и, сколь-

зя в грязи, потащили к могиле. Я всё ещё не мог представить, что вот сейчас, через минуту-другую, гроб с дедушкой поглотит земля, жирная, мокрая! Гиёт её ужасал до крика, до острой боли в груди своей падающей неотвратимостью. Без суетности, ловко орудя сдвоенной верёвкой, мужики опустили гроб в глубокую с «плачущими» стенами яму. Вот уже тяжёлые серые комки барабанию застучали (будто поступали куда-то) по крышке гроба. Все мы, следуя примеру бабушки, швырнули в яму по горсти земли... С каждым взмахом лопаты она всё плотнее окутывала гроб холодным сырьим одеялом. Наконец над останками дедушки вырос унылый суглинистый холмик. Могильщики спешили. Да оно и понятно — дождь разошёлся не на шутку.

С кладбища мы возвращались пешком. Линейка укатила... День казался серым, как смерть. Серое с про-чернью, плачущее небо. Серая раскисшая земля. Серое лицо озябшей бабушки. Серый её промокший платок, серое штопанное-перештопанное пальто, серая в ошмётках грязь обувки. И мы — серое замызганное трио с серыми уже не детскими лицами и мыслями — с трудом тащились в обратном направлении... Неожиданно бабушка свернула в сторону и присела в мокрую потухшую траву. «Больше не могу! — шептала она». Плечи её тряслись, тряслась вся маленькая её фигурка. Краем платка прикрыла она лицо и горько неудержно плакала. Видимо, это была последняя дань человеку, с которым она прожила 38 лет. Мы стали поднимать, успокаивать её. Я чувствовал, что тоже плачу, а пальцы ещё сжимали липкий комочек земли с могилы деда.

Земля!.. Изрытая, истерзанная, исковерканная!
Сколько я видел тебя в годы войны. Ты кормила нас
крохотными огородами, спасала от бомб и снарядов,
ты без счёта принимала мёртвых и растворяла в себе.

Я помню тот ужасный противотанковый ров на западной окраине города. Так сразу земля не могла принять столько трупов. Укрыть, спрятать их она тоже не могла. Расстрелянные немцами евреи заполнили ров по самый бруствер. Тонкий слой почвы, которым их наспех присыпали, не смог скрыть ужасных поз несчастных. Стояло лето, и трупы быстро разлагались. Вездесущая наша ватага сразу пробралась к месту трагедии. Увидев ров, мы оцепенели. Казалось, что останки мёртвых шевелятся... Одуряющий запах напитал холмы, горячий воздух над ними. Мы смотрели и запоминали: часть руки с жёлтыми костяшками пальцев будто поднятая в прощальном взмахе, чёрная, обуглившаяся нога в неестественном выкрутте, часть головы, светящая костяной макушкой черепа. Смерть повсюду расставила страшные «вешки» расправы.

Долго ещё, очень долго трупы растворяла земля, а когда растворила, то по всей протяжённости рва поднялись зелёной стеной богатырские сорные травы, будто преграждая доступ неведомому врагу.

Спустя годы, посетив эти места, я ещё чувствовал запах тлена. Может быть, он и остался здесь навсегда — в суглинке, в прогретом известняке, в каменистых холмах, в беззастенчивой поросли молодых дубков. В небе.

* * *

Там, где возвышенность оборвал водораздел, от которого начиналась дорога к морю, с северо-западной его стороны, желтела отвесная стена глинистого сброса. В стене этой, видные с большого расстояния, чернели ходы-выходы так называемой Аверкиной пещеры. Ходы не являлись пещерами в природном их исполнении, и кто дал им такое название было известно одному богу... Вся нехитрая планировка подземелей сводилась к недлинным коридорам, заканчивающимся обычно туниками-комнатами. Во многих местах входы обвалились, оставив узкие щели, в которые и пролезть-то было невозможно. Говорили, что до войны в подземелье хранилась взрывчатка. При отступлении здесь, видимо, что-то жгли, а может, взрывали. Небольшой закрытый ветрам котлован у подножья сброса едко пах пироксилином. Летом, в жару, от запаха пьяно кружилась голова. Эти небольшие по протяжённости катакомбы всегда притягивали нас, пацанов, наётом тайны...

В то время я учился в 5 классе. Класс в основном состоял из хулиганских слободских переростков, детей оккупации. Иногда стихийно, без слова, мы уходили «качарить» — отчаянная ватага покидала класс на все школьные часы. Мы подавались на распаханные войной холмы, чтобы... поиграть в войну. Все другие игры были нами изрядно подзабыты. Воевали с посёлком «Украинка». Бой часто начинался и кончался камнями, хотя у многих имелись обрезы с патронами, немецкие штыки, кинжалы, сабли. У двух-трёх были пистолеты. Иногда на стыках двух «армий» дело

принимало поистине батальные повороты. Но оружие по неисанным соглашениям не применялось. Его таскали с собой больше для форсунки и острястки. И если говорить нынешним языком, то иметь его просто было престижно.

Помню, сразу после окончания войны в наш разболтанный 5 «Б» пришёл новый учитель географии Бухштаб Яков Ефимович. Небольшого роста, чернявый, подтянутый, в полинявшей гимнастёрке, на которой скромно поблескивала нерасшифрованная пока медаль. Этот человек нам понравился. Намётанный взгляд переростка сразу отметил, что с новым учителем в класс вошла дисциплина. Фронтовик есть фронтовик, не какие-то там Устиньи Порфириевны да Клары Кирилловны. Вопреки ожиданиям и прогнозам, новый географ оказался на редкость деликатным, мягким человеком, полностью понимающим нас и наше потрясение войной недалёкое прошлое. Но иногда с ним случались оглушительные нервные срывы, когда и он, и класс — всё впадало в сплошную истерику.

— Простите, нервы! — светя бледным лицом, оправдывался потом Яков Ефимович.

И мы понимали: война!

Но как бы там ни было, урок географии мы предпочитали всем остальным. Захватывающая масштабность предмета с будоражащей воображение экзотикой дальних стран на время уводила мысли от голодной слободской застойности. О как не хотелось потом возвращаться к потрескавшимся от бомбёжек, давно не беленым стенам дома, к своим никудышным, мелким делишкам. Сказать нечего, новый учитель мог

высоко нести свой предмет. Зачастую, отойдя от темы, он запросто, без бравады и пафоса рассказывал о войне...

Я чуть не забыл упомянуть одно из главных его качеств — доброту. Было время, когда на большой перемене остронуждающимся детям выдавалась маленькая булочка из тёмной муки. Эта привилегия касалась и преподавателей. О других учителях судить не берусь, но Яков Ефимович всегда отдавал свою булочку кому-то из учеников. Однажды он протянул её мне. «Бери, бери, не стесняйся! — оборвал он протестующий мой жест. — Я знаю, что, кроме бабушки, у тебя никого нет!».

Этому человеку мы как-то рассказали об Аверкиных пещерах. Яков Ефимович подумал и обещал в ближайшее время, после уроков отправиться туда всем классом. И мы отправились!

Ноябрь, 1986г. г. Торез

ГОБЕЛЕН

Василий тупо смотрел в угол. Пространство у печки в добрый квадратный метр напоминало окоп после атаки: жёёные спички, плевки, пробки от бутылок, окурки, похожие на стреляные гильзы, скомканный платок Зинки в пятнах крови или помады...

Василий был во власти сумеречного опохмелья. Его свинцовые зрачки казались пулями, застрявшими в стволах ружья. Стволы матово блестели, и сквозь них был виден тот же угол у печки, похожий на окоп. Ни мыслей. Ни желаний. Вот так бы сидел и смотрел. Всё равно куда...

На кровати заворочалась Зинка. Василий с трудом повернул голову. Из глаз скользнул зелёный кружок и потух. Рот Зинки был приоткрыт. Кончик языка просвечивал между редких зубов и походил на поросёнка, лежащего у дырявого частокола.

Василий вспомнил золотой зуб и коронку Зинки, которую вчера пропили. Часовщик, не торгаясь, дал восемнадцать рублей. В волосах Зинки поблескивали гниды.

— Тыфу, — сплюнул Василий.

Зинка спала под тощим одеялом. Пьяная и вольная. Василий посмотрел на недопитый стакан. «Вот выпью, — подумал он, — и полезу к Зинке...». Дрожа-

щими пальцами он подцепил соринку из вина, но неловко дёрнулся и опрокинул стакан. Запах вермута вызвал спазм в желудке. Василий матюгнулся. Где-то было ещё вино, спрятанное Зинкой на утро, но ему было лень вставать и искать. «Сука! — внезапно обозлился он, — вечно прячет!» Василий рывком вскочил и заглянул под кровать. В мутном полумраке он увидел две порожние бутылки и свирепо катнул их к стене. Затем покривил губы и огляделся. Кроме кровати, пустого посудного шкафа, стола и двух искромсаных стульев в комнате ничего не было. Василий тихонько приподнял угол подушки. Зинка сонно мотнула головой, и под подушкой булькнуло.

— Не шебурши, — липко процедила Зинка, сопнула и затихла.

Василий ловко извлёк бутылку и показал Зинке кукиш.

Вино постучало в мозг весёлыми молоточками. Василий взял со стола и бросил в рот два рубиновых зёрнышка граната.

— Спиши, дура, — уже по-доброму взглянул он на Зинку.

...Поверх кровати к стене был прибит старенький gobelen французской работы. На gobelenе, на желтоватом фоне галдел восточный базар: верблюды, бедуины, пальмы, ковры, горы фруктов, женщины с тяжёлыми браслетами на руках. Купола мечетей и минареты, смотрящие в песчаное небо... Gobelен был единственной жизнью в пустой квартире Василия. Нет. Пожалуй, ещё Зинка, как бугафория на переднем плане диорамы, горбилась перед сказочным миром грудой тряпья.

К гобелену уже прицеливалась старуха соседка. Но Василий всё медлил. Это был его резерв. Его начало или конец.

Гобелен Василий помнил, сколько помнил себя. Он вжался в него вместе с арабскими сказками детства. На гобелен смотрела его мать, потом он, друзья, девушки, сотрудники... Звенели бокалы, звенело тогда щёголюбое аравийское небо, звенела жизнь. Его называли Василий Трофимович. Потом — Вася... Год назад его уволили с работы, и жена, уходя совсем, сказала: «Вася, теперь тебя будут называть Никак, — и повторила: — Ни-как!»

За год Василий продал всё... Остались гобелен и мебель, годная разве на дрова. Его родной город не любил слабоволия и швырнул Василия под винный ларёк. Василия лечили лекарствами, но не лечили люди.

Зинка приблудилась к нему безвольная и опустошённая. Они вместе пили, спали и каждому снилось своей перегаром прошлого.

Мозг Василия отяжелел. Он подмигнул гобелену и прочёл: «В пустынных песках Аравийской земли три гордые пальмы росли...» И вдруг вспомнил всё стихотворение до конца. «...Родник между ними из почвы...». Родник, — повторил он, — мне нужен родник. Больше не буду. Дамаск, Пальмира, бедуины... Не буду... — И по ассоциации: — Будур... Будур... — бессмысленно бубнил он. — Вспомнить надо... Завтра», — скрипнул он зубами, проторевшись от злости, и потушил свет.

* * *

— За что? — хлюпала утром Зинка. Один глаз со сна щёгле не открывался. Крашеные космы торчали, как плюмаж индейца.

— Зубы пропили! — взвизгнула она и попыталась ударить Василия. Он поймал её за руку.

— Приходи трезвая, приходи вечером, — Василий теснил её к выходу. — Я иду по делу, пойми.

— Коврик-то как? — высунулась из соседней комнаты старушка. Её мышиный носик дёргался. — Вот и похмелились бы... А скандалить не надо. Намедни опять участковый приходил.

Василий пусто посмотрел на старуху и механически повторил: «Да, участковый...»

Зинка рылась в карманах.

— Дай мелочь, гад! Дай, уйду, уйду совсем. Ханыга! Василий протянул Зинке несколько монет.

* * *

В утренние часы в библиотеке было пусто. Василий одёрнул мятый пиджак и поборол колебания. У ящика с карточками стояла невысокая женщина.

— Здравствуйте, — тихо сказал Василий.

Женщина на несколько секунд задержала взгляд на неряшливо одетом мужчине.

— Я хочу записаться, — Василий протянул приготовленный паспорт.

Женщина заполнила карточку.

— Что вы хотите взять? — спросила она.

— У Вас есть арабские сказки? Ну, «Тысяча и одна ночь»? Там, где Синдбад-мореход. Знаете?

— На руках, — не раздумывая, ответила женщина. — Возьмите что-нибудь другое.

— Другое? Нет, пожалуй, я пойду.

Василию мучительно захотелось пива...

— Постойте, вы не учились в двенадцатой школе?

— Когда-то давно, — машинально ответил Василий, — очень давно.

Теперь он более внимательно посмотрел на неё, и лицо её показалось знакомым...

— Подождите, будут вам сказки! — она свернула за стеллажи.

«Будур», — шепнул Василий и огляделся. На него никто не обратил внимания.

— Это из книгохранилища, — сказала женщина, протягивая книгу. — Распишитесь.

«Как же её зовут? — думал Василий, выводя свою фамилию дрожащей рукой. — Вера, Надя, Оля?»

— Спасибо, — поблагодарил он, — большое спасибо!

И троимённая женщина улыбнулась ему одним хорошим добрым именем: Юность.

Из библиотеки Василий пошёл в парк. Тёплое небо было бесцветным и лёгким между юных тополей. Резвились белые панамки. Воспитательница вытирала зёлённые коленки малыша и что-то выговаривала ему. Ребёнок всхлипывал.

Василий купил мороженое в хрустящем вафельном стаканчике. Он подошёл к бассейну и долго смотрел на красных рыб, лениво шевелящих плавниками. Слово «Будур» опять кольнуло память. «Так это же Алладин!» — чуть не крикнул Василий! Он вытер липкие руки о карманы брюк и сел на скамейку. Тень от дерева лежала на гравийной дорожке восточным арабеском. Василий открыл книгу.

— Дядя, почитай сказку! — Василий вздрогнул. Сзади в книгу смотрели два любопытных глаза. В волосах у мальчика застрял тополиный пух.

— Как ты узнал, что это сказки? — удивился Василий.

— У нас дома есть такая книжка. Мне мама читала.

— Ну, что ж, — сказал Василий, — садись, слушай.

Мальчик обежал скамейку, сел рядом и заболтал ногами.

— Слушай, — повторил Василий. — Алладин и волшебная лампа. — И начал таинственным голосом сказочника: «Давным-давно в старом городе Магрибе...»

г. Симферополь, 1968 г.

СМЕРТЬ ПОНЮХИНА

Видимо, Николай Понюхин был всё-таки хорошим человеком.

Его уважала Шестирековая слободка. Шестью реками слободка не могла похвастать, — в ней не сыпалось бы и ручья. И я, интересуясь происхождением этого названия, наткнулся на рассказ о купце Шестирекове, который в стародавние времена что-то там содержал на слободке: то ли магазин, то ли какое-то питейное заведение, словом, был причастен к чему-то торговодоходному.

Так ли было на самом деле, никто толком объяснить не мог. Вариант о происхождении показался мне приемлемым. На нём и остановимся. Суть не в этом.

...Дядя Коля, а вернее, дед Коля, о котором пытаюсь рассказать, проживал в самом чреве слободки, на скрещении улиц Калинина и Дзюбанова, в большом общем дворе. Хоромы его (неуклюжий обшарпанный дом, скорее похожий на сарай) выселились на пригорке, в центре двора. В единственной, донельзя захламлённой комнате витали запахи табака, вина, мочи, бившие в нос входившему человеку. У окна с давно не мытыми стеклами притулился расшатанный питейно-закусочный стол... Об остальном, а его было не так уж много, лучше умолчать. А если продолжить,

то — как о чём-то мерзком, вызывающем тошнотную муть... Человек, попавший туда впервые, сразу впадал в состояние брезгливой паники, выйти из которой было не так-то просто.

Описывая сие жилище, можно смело заметить, что человеку трезвому делать в нём было нечего. Впрочем, туда, кроме слободских пьяниц да привыкшей ко всему милиции никто не заглядывал... Наезды милиции обычно заканчивались отгрузкой в спецмашину небритого контингента для разборки «кто есть кто». Потому как, кроме своей шестирековской пьяни, милицейский улов ист-ист да пополнялся заезжими «гастролёрами». Так что милиция на улицу Дзюбанова наведывалась часто. И, бывало, в милицейские сети попадалась искомая криминальная рыбка...

Это о доме. Теперь о хозяине. Николай Понюхин был отличным печником. Пять лет «отстукал» на Колыме. Пенсии Николай Авдеевич не получал — не заработал. Кормился случайным хлебом: сооружал и ремонтировал печи, сдавал порожние бутылки. Питался обедками, оставленными на столе пьяной, да тарелкой супа, подносимой иногда сердобольной соседкой. Так он жил — поживал, друзей-бухариков наживал!..

Печника Понюхина хвалили. Однажды в одной из квартир я подглядел его в работе. Понюхин закончил штукатурить печь. Она смотрелась гладенькой, аккуратненькой. Понюхин как-то по-особому зыркнул на меня и ловко срезал с тёрки мастерком остаток глины...

— Шабаш, — сказал печник, — приехали.

— Дядя Коля! — пригласила хозяйка. — Давай уже, мойся и — кушать! Мойся, мойся! На столе вон яицкая стынет! В умывальнике водица тёплая.

— Не, — отказался печник, — я, хозяюшка, по-своему ополоснусь, по-мужицки.

Он тут же зачерпнул из ведра кружку воды и всосал её в рот. Щёки его смешно раздулись, отчего он сразу стал похож на какого-то степного грызуна. И тут — удивление! Из правой ноздри в сложенные лодочкой ладони полилась тугая, весёлая струйка воды. Тот же фокус он продемонстрировал и с левой ноздрёй. Помыв таким необычным способом лицо и руки, Понюхин с достоинством прошествовал к столу, на котором светилась «маленькая» среди отменной закуски.

— Налить? — поболтал он водкой. Я отказался.

.....

Свою холостяцкую жизнь Понюхин не старался загромождать вещами.

Всё, окружавшее его, смотрелось ветхим, давно отжившим хламом. Стол был протёрт руками пьяниц до самого древесного нутра, до костяного блеска... Рядом, замечу, в центре комнаты — ржавая расшатанная койка с кучей тряпья, на которой постоянно кто-то пьяно хралел. Что ещё? Ни-чего! Рвань, грязь, объедки... Но об этом, пожалуй, хватит!

Ночью, как говорится — однажды, Понюхин — а было ему далеко за шестьдесят — скончался. Помер дядя

Коля! Умер проще простого, проще того, как жил: уснул «под мухой» и не проснулся. Поистине, смерть дарованная Богом!

Когда на другой день мужики зашли в дом опохмелиться, дядя Коля не поднялся, не заспешил навстречу, не скривил в улыбке бледные губы, не засуетился, ополаскивая стаканы... Он неподвижно лежал на койке...

— Николай Авдеевич! Проснись! «Молочек» приехало! — произнёс кто-то из вошедших.

Но Понюхин не встал, потому как смерть не отпускает даже для того, чтобы глоток сделать.

— Бухари! — последовало тревожное. — Да он, кажется, того... окочурился!

И хибарку Понюхина на мгновение заполнила тишина. А потом скучились, загаддали, стали мудрствовать, но так как мудрствование умерших не воскрешает, объявили о случившемся соседям.

— Слава богу, прибрался! — послышалось облегчённое. — Во дворе чище будет!

С похоронными делами связываться никто не хотел, и весть о смерти безродного Понюхина покатила прямо в милицию, а уж та сообщила в ЗАГС. Быстроенько оформили соответствующие бумаги, погрузили умершего в машину и увезли. Куда — неизвестно...

Вот, пожалуй, и вся история, если не добавить к ней несколько слов.

В ночь смерти Понюхина пёс его по кличке Атос, хороший дворовый пёс, провыл всю ночь, будоража слободку. На утро он исчез со двора и никогда больше в нём не появлялся. На том всё кончилось: простецкой жизни — простецкий конец!

Три дня Шестирековка поминала Понюхина. У пивных бочек, винных ларьков толковали о нём небритье мужики с поношеными лицами.

— Да, — вздыхал кто-то, поднимая стакан, — нет больше дяди Коли и не будет! Помянем старого!

И поминали водкой, вином, пивом. И то тут, то там порхали хорошие слова о Понюхине. Затевалось обычное:

— Колю-печника знал?

— Колю? А как же!

— Помер, говорят. Царствие ему небесное!

И лилось, лилось в захватанные стаканы...

Стояла ветреная, прохладная осень. Уже топили печи. Они давали радость тепла, радость весёлого печного огня, к которому были причастны руки покойного. И когда сырой, разбойный ветер гудел и подывал в трубах, оттуда, из самых кирпичных недр, из самого печного зёва вроде кто-то жарко шептал: «Живите, люди, грейтесь, люди!».

г. Торез, 1987 г.

ЗВЕРЬ В ТЕПЛОТРАССЕ

Город поедал его... К вечеру жар усилился, а с ним подкралась тревога. Теперь «курносая» мерещилась в каждом окне, подворотне, подъезде. Запасливый разум старика ещё фиксировал, запоминал виденное, но все явления жизни сводились сейчас к одной точке — точке отчаяния. Рассудок устал бороться с неизбежным. Изношенные нервы, мышцы, внутренности сдавали... А тут ещё температура, помрачившая мозг, рушила маленькую остаточную надежду на жизнь, её продолжение...

Жар, видимо, повлиял и на зрительный аппарат. Окружающее воспринималось размытым, смазанным, перечёркнутым косо падающим снегом...

...Старик засел на низкой скамейке в небольшом скверике, как никогда чувствуя болезнь и одиночество. На ней он провёл большую часть послеобеденного времени, углублённый в себя, съёжившись, словно озябшая птица.

В иные дни город заставлял его двигаться, «шастать». Так было вчера, неделю назад, месяц... шастать приходилось и тогда, когда листья клёнов еще не оборвала осень....

Шастал он и до того, вероятно, забыв, с каких пор ш а с т а е т...

Недавний день... шестидесятилетие... проскочил незаметно. Стоило ли помнить о нём?

Старик никогда не задумывался о таких серьезных вещах как прогресс, пространство, время. Его не интересовали наука, искусство, творчество, а потребности сводились к хлебу насущному, выпивке, куреву. Остальное навсегда было похоронено...

...Падение началось давно, лет тридцать назад, и кто знал, что оно продлится так долго. Воспоминания о «раньше» приходили редко. Детство, война, плен, концлагерь... короткое послевоенное счастье — женщина, не оставившая следа... мелькали картинками, обглоданными временем. Бездетным, ещё не старым, он прикоснулся к стакану, послав к чертям порывы, планы и часть ненужных ему желаний. Не ведая как, примкнул к компании вёрткой, разнудзданной. Оказался в тюрьме... А вернувшись, увидел в квартире чужих, равнодушных людей. Потускнев душевно, он напился и ночь провёл под забором.

Выход подсказывало состояние... Радужная жидкость в стакане застила тусклые глаза. Выход рождал выводы, из которых следовало, что вину подвластны все формы интеллекта и разума, а коль он — «серая середина», можно без оглядки нырнуть в угловой мирок, плюнув на мораль и общество и поставив тем самым крест на дальнейших борениях... Так через 30 лет он стал тем, кем стал, — видимым невидимкой. Видимым только мусорщикам, разъезжающим на весёлых оранжево-синих машинах. Каждый день старик зависел от случая. Но всё чаще и хлеб, и вино казались ему горькими... Не от стыда за непричастность к ежедневной людской суете, а оттого, что хлеб был

подачкой того же случая. Вино же давно не сотрясало мозг, холодно растекалось в груди мутной болотной жижей.

...Время застыло в снежных сумерках. В них старик казался ни живым, ни мёртвым.

Ноги в стоптанных опорках вросли в слякотный асфальт. Под армейской фуражкой со сломанным козырьком пряталась поникшая птичья головка. В засаленных карманах ветхого пальто сжались сухие кулаки, суставы горячих пальцев...

Старик сгорал в собственном жару, не чувствуя особой потребности отвоёвывать себя у болезни. А, впрочем, живым в нём оставался только мозг с червячками-мыслями, вяло копошащимися в извилинах... Думал он о том, что все живые имеют убежище... Норы, гнёзда, омыты, щели... С наступлением ночи всё, всё, всё растворяется, прячется, исчезает. И только сейчас, на склоне лет, старик начал понимать, как трудно быть человеком! А ведь хотелось ему немного — забыться в сухом безопасном тепле, где не сыплет крупный тающий снег. Чтоб отлежаться или умереть...

Белесая темень окутала сквер. К вечеру город, казалось, ускорил ритмы. Косяками спешили шумные, длинноволосые «додики». В близрастущих кустах трое юнцов с комсомольским рвением били пьяного. Старик с отвращением давал оценку окружающему. Таких он встречал в тюрьме. Разобщенные, со сбитой спесью, придавленные более наглыми, они не вызывали ни сострадания, ни жалости.

Засветились фонари, вперив в вечер круглые заплаканные лица. Снегопад усилился. Старик попробовал подняться, но на него сразу обрушилась тяжесть

болезни. Трудно дыша, он привстал, медленно обретая уверенность в движениях. Затёкшие ноги плохо слушались, но постепенно, шаг за шагом, старик всё дальше уходил от скамейки. Теперь уже инстинкт решал главную проблему — ночлег в одной из дыр, облюбованной бродячим людом. Ночлег нужно было искать поблизости. На дальний конец — вагонное депо, — могло не хватить сил. Да и в депо двери вагонов редко бывают открытыми...

Он тут же вспомнил, как однажды уже пытался проникнуть в вагон, подлежащий ремонту... Что за этим последовало почти не сохранилось в памяти. Тяжёлая дверь, снятая с петель (проводники подстроили) легко отделилась от проёма и сшибла его со ступеней... Грохот был страшный. Потом он полз, не чувствуя боли: стёкла порезали лицо и голову. Но надо было уносить ноги — поди докажи, что ты — не ты проводникам или «ломовцам».

Одно воспоминание тянуло за собой другое...

...Как-то ночь подсунула ему «столыпинский» вагон, стоящий в тупике. В купе начальника конвоя сохранился кожаный диван. Определённый комфорт обрадовал старика, и он улёгся, предвкушая спокойную ночь. Но странно: заснуть он не мог. В полуоткрытую дверь заглядывал забранный решётками коридор. Пустой, как одиночество. А ноздрей коснулся необъяснимо-странный запах неволи. В глубинах вагона шептались призраки. Старик представлял их серые, арестантские лица, слышал нарастающий гомон в камерах-клетках... Он вдруг с ужасом ощущил себя узником, сорвался с места и бросился прочь.

А кладбище? Разве можно забыть такое?!

Бугорок могилы, ложбинка рядом с ней... примятые космы травы. И небо... Большое, обзорное небо бросало в глаза колкие пригоршни звёзд. «Уютное» ложе, запах ночи, тишина усыпляли... И сон. И — острый луч фонаря, пронзивший зыбкие сновидения. Стояли двое. В милицейской форме.

— Приполз на место? — с издёвкой спросил один. — Ну, что ж, валяй, отдыхай! Дальше ползти некуда!

Они дружно ушли как и пришли. А старика долго трясло, верно, больше, чем при встрече с покойником.

Стояло дивное лето, и в тюрьму ему не хотелось...

...Праздничным событием промелькнул случай с шикарным ночлегом в пригородном леске. Тогда прошёдший день, на редкость злой, голодный, вконец измотал его. Маленькая, огороженная деревьями, полянка сулила спокойный отдых усталому телу. Но к ночи желудок расхныкался, требуя своего, а карманы были пусты: ни корки, ни бутылки... И вдруг отброшенная за голову рука нашупала в кустах растрёпанный свёрток. Старик не по возрасту шустро вскочил. «Боже!» — колыхнулось внутри. Взору открылись богатства, о которых только что мечтал голодный желудок: белый батон, сыр, ветчина! Пучок зелёного лука... Ещё не веря в случившееся, он начал шарить вокруг и сразу обнаружил початую бутылку вина, прикрытую гранёным стаканом. Рядом с ней, в траве, затаились два целеньких варёных яйца. Это был подарок судьбы! Перебои в сердце сразу устранились изрядной дозой спиртного. Безудержная радость врывалась в застыв-

шую кровь. Он взмыкнул, словно молодой лошак, и откатился к центру поляны. Весёлый беззубый рот заполняло яичное месиво. «Что зубы?! — клокотало веселье, — паршивый атавизм! К чёрту зубы! Скоро настанет время синтетической пиши (где-то он уже слышал о ней), когда костный частокол во рту исчезнет как ненужный рудимент. Ха! Пища будущего лишит кое-кого звериной радости дробить и перемалывать кости...» Старик почувствовал пьяное довольство оттого, что ест незабытое, доброе, вкусное. Он вновь приложился к бутылке. Непрожёванные куски ветчины падали в едкую смесь вина и желудочного сока. Тонкие обезъянны губы растянулись в улыбке.

Подарок случая воспринимался им как должное. Он особенно не задумывался о том, кто оставил в траве все эти вкусные вещи: те ушли — пришёл он, гиена — к трапезе львов. Нет, позовите, он не гиена! Он просто одинокий старый чудак, плюнувший на законы общества. Гордый тем, что в нём все еще бунтует капля санктюлотской крови, что ночная поляна — его поляна, его Версаль, а всё вокруг — Бастилия. Ему почудилось какое-то иное измерение пространства — четвёртое? пятое? — которое, может, и есть Бог, а он, да, он! счастливый старик, часть его... Не пустота в отрепьях, не личинка в навозе, нет! — мотылек в коротком мгновении властвующий над цветами и травами. И кто как не он запьёт похмельную горечь росой!.. А вдруг околеет?! Эта мысль всё чаще путала его. Потом, не сейчас, когда с ним — его случай, его праздник, вознёсший пустую повседневность на грань торжества...

.....

...Старик семенил, толкаемый в спину вечерней шумихой. Еле двигаясь, он убегал, пропуская сквозь мысли остальное. Оно было голодным, чумазым, муторным. Кочегарки, подвалы с крысиными танцами. Сон в вагонном угле. Налёты милиции. Холодные панихи неоконченных строек, покинутые бытовки. Продуваемые «теремки» садоводов-любителей. Подзаборное бесчувствие... затхлые норы городских свалок и ещё чёрт знает что... Всего и не упомянуть.

...Финал всегда был «отрадным» — статья за бродяжничество.

Мокрый снег таял на горячем лице. Теперь штурвалом направления полностью завладел инстинкт. Старика влекло туда, где в белесой мгле затерялись трубы канатного завода. Он верил — там можно укрыться. Сгорбившись, бочком, старик переполз на противоположную сторону улицы под бетонный козырёк остановки. По спине забегали ознобистые мурашки, а голова пылала раскалённой печью. Её словно расплющило жаром. Рот усох как пустынное озерцо — слюна исчезла. Старик пожевал дёснами и сплюнул пустотой.

.....

В районном отделении милиции шёл вечерний наряд. Уже распределили по объектам дивизион срочной службы. Разошлись кадровики. Осталась опергруппа, получавшая задание последней.

— Вот что, ребята, — говорил дежурный по отделению, — ночью нужно прочесать завод. Есть сигнал: бичи в теплотрассе хоронятся. Транспорт — «Сине-

глазка». — Он обвёл взглядом молодых парней из бывших солдат, недавно пришедших в органы. — Старшим наряда будет Шапошников.

Рослый сержант заметно подтянулся.

— Но это ещё не всё! Сегодня проведём эксперимент. С вами поедет кинолог с Найдой. Решили попробовать собаку в деле. Посмотрим, сколько она «сусиков» выгонит. Хватит форму марать в подвалах и кочегарках. Правильно говорят, мол, улова нет, а форму после этих прочёсов ни одна химчистка не принимает. Вот для этого и даём собаку. Она в любую дыру просочится! Смекасте? «Фас!» — и в пору! Стой себе, покуривай и жди. А иначе как? Кого в теплотрассу лезть заставишь? Ясно? Поедете к 12-ти. И хорошего вам улова, ребята!..

.....

Старик на удивление легко скакнул со ступеньки автобуса. Высохшее тело казалось невесомым. Из-под ног брызнула снежная жижка. Как-то в начале осени он уже был здесь. Лючок в заводскую теплотрассу ему показал однорукий бич, с которым часто скрещивались бродяжки шатали. Потом ещё кто-то вспоминал об этом... Да не всё ли равно — кто! Лишь бы найти лазейку в заборе, а потом отыскать лючок. А, может, дыру уже заделали? Тогда? Что — тогда?

Старик сошёл с асфальтированной площадки и, скользя в грязи, двинулся вдоль заводской стены. Ему приходилось часто опираться на неё — ноги заносило в неглубокий овражек, заполненный чёрной неподвижной водой. Стена была нескончаемой, будто ею

опоясан весь мир. Наконец, когда с последним хрипом почти вылетела душа, в стене появился проём, оплётённый колючей проволокой. Проволока была раздвинута. В узком лазе топорщился мрачный заводской двор с рыжим светом в окнах цехов, с приглушённым гулом, лязгом, грохотом. Чужды слуху звуки сразу насторожили. Старик отдохнулся и вполз на заводскую территорию. Здесь, почти у цели, он почувствовал облегчение. Сейчас он обязательно разыщет лючок, непременно упрётся в него, вспоминая приметы. Каждый шаг сопровождался хлюпаньем в ботинках. Пальцы ног сводило судорогой. «Ах, как глупо! — бормотал он, не осмысливая фраз. — Ах, как нехорошо!.. Только бы найти этот проклятый лючок — пропади всё пропадом!».

В глазах ширились звонкие радужные круги. «Вроде там», — бросало его от направления к направлению. Но всюду на пути вставали барабаны ржавой проволоки и остроугольное бесчувственное железо. Слабость в теле вызывала желание присесть прямо в жирнос, подбеленное снегом месиво. Но он пересилил себя и, где на четвереньках, где, с трудом поднимаясь, продолжал поиск. Намокшее пальто давило на плечи свинцовым грузом. Старик вытирал об него грязные, слипшиеся пальцы. И когда на дальнейшее блуждание совсем не осталось сил, прямо под ногами появилась бессовестно-хитрая щель, над которой струился лёгкий парок. Старик, верно, ошибался: не лючок, а лаз — бетонные плиты были раздвинуты — открывал доступ к подземному тёплу. Может, где-то и существовал другой вход, и он что-то перепутал...

Для раздумий не оставалось времени: старику спешить укрыться. Он нагнулся, опёрся руками о выступы плит и скользнул в траншею. «Вот и всё! — ухнуло внутри. — Это же дом. Я дома!» Ноги ласкала сухая твёрдая земля. Траншея оказалась неглубокой. В неполный человеческий рост. Сердцевиной её, расточая блаженное тепло, терялись во мраке спаренные трубы отопления. Он присел на корточки, взгляделся в тёплую тьму и тихо спросил: «Есть кто живой?». Ответа не последовало. Подземелье молчало. Согнувшись, старику медленно пошёл вперёд и только раз оглянулся. Тусклая щель поглощала косо летящие снежинки. Через несколько шагов его обнял душный, бессмысленный мрак. «Нужно засветить спичку». Но вместо этого он продолжал осторожно продвигаться вперёд, щупая сухую пустоту и боясь наткнуться на неизвестное препятствие.

Вскоре под ногами зашуршила солома — верный признак обетованности. Слабость валила с ног, но осторожность, продиктованная инстинктом, гнала от входа. Так он прошёл ещё метров 15–20. «Хватит! — старику решительно присел. — Дальше — ни шагу!» Но тут же заставил себя проползти ещё немного. От близкой земли пахло пылью. Сбоку, чуть потрескивая, тянулись трубы. Они казались предельно горячими. Старику приткнулся к стенке, зная, что во сне о трубы можно обжечься. Сбросив опорки, он протянул ноги к горячим жилам. Мокрые носки тотчас же высохли. Их дырявая синтетика стала твёрдой. «Прямо, лубки!» — ругнулся старику. Но снять носки не решился. Опорки он поначалу сунул под голову. От них

удушливо пахло. Но свой запах не отпугивал, а был даже приятен. Фуражка легла сверху, создавая некое подобие изголовья.

«Вот и всё», — шепнул старику, опуская тяжёлую голову. Болезнь вновь подсыпалась в глаза радужных кругляшек. «Нужно уснуть!» — приказывал здравый смысл. Несколько минут его ворочало на жаровне болезни, но сырость, исходящая снизу, заставила встать. «Проклятое пальто! Снять к чертям! Просушить!» Старику знал, что порой от мелочи зависит многое. Вскоре сырая одёвка распластанась на горячих трубах. Земля сразу показалась жёсткой и неуютной, и пришлось продолжить движения: нагрести на лежбище соломы. Копошась, он вспомнил о спичках и достал из кармана брюк бесформенный коробок. Короткая вспышка высветила ужасную непривлекательность окружающего. В нескольких шагах пестрела кучка тряпья. Старику переполз к ней с ботинками и фуражкой в руках, а затем вновь подгрёб за собой солому. Ботинки он поставил к трубам. Спичка давно погасла, усугубив мрачную отрешённость его убежища от всего земного. Траншея являлась пределом, в который может упереться человеческое падение. Страшней представлялась только могила с её единственной радостью — несбытием. Ощущаемое настолько сплелось с неизвестным, что смерть казалась пустяковым неведением. Щупальца болезни полностью оплели тело. Теперь хотелось снежного воздуха... Любое движение порождало боль. А боли он боялся: обострённость чувств лишала спасительного беспамятства.

Когда, когда он ошибся? — летел шепот-крик, поглощаемый голодной на звуки глоткой траншеи. Он ошибся тогда, — доносило тихое эхо прошлого, — когда попал в плен. Нужно было умереть! Тогда вся его короткая жизнь вписалась бы в тихую похоронку. Но он не пожелал умереть, продолжил в нечеловеческих условиях отстаивать жизнь. Зачем? Чтобы сейчас одиноким, больным, стиснутым мраком чувствовать предсмертную ностальгию по всему живому?! Да, он не умер, он выжил в этой ужасной бойне, и вот — расплата... Полусомкнутые веки цедили слёзы. Те сразу высыхали, оставляя в глубоких морщинах прохладный след. Мысль, что мир там, над ним, полон подобных ему, не успокаивала. Сейчас он растворился в себе. Он чувствовал: скоро конец.

И странно, почему в нем никогда не просыпалась зависть — стремление к сытасти и довольству. Почему всегда смирялся с тем, что он низшая форма жизни?..

«Да, — шептал старик, — доброе слово и кошке...». И сейчас, в бредовом самозабвении, он просил это доброе слово, но пароль был давно забыт, и никто не мог напомнить о нём: подземный мир молчал.

* * *

Трудно сказать, каким образом обитатели траншеи узнавали о предстоящих облавах. Но в этот день ни один из них не появился в ней... Предчувствие беды? Или свой человек в милиции? Трудно сказать... Не ведал об этом только старик — он был болен.

«Тепло возрождает жизнь... Или смерть...» — усмехнулся старик. Хитрая вошь выбрала впадину между лопаток — точку, до которой он не мог дотянуться. Паразиты на теле были не в новость. Но сейчас их нападки воспринимались особенно остро. «Большая, жирная, ненасытная самка! — ругался старик, — разворашенная кровью!». Почему «самка» и почему «большая», старик не мог ответить. Болезнь увеличила масштабы ощущений, рождавших немые преувеличения. Ещё старик знал, что гниды грызут куда больнее... Нелепые сравнения не смущали его. Вошь очевидчивалась, и её ненасытность походила на перверсию. «Жирные всеядные самки! — злился старик. — Сколько их встречалось в жизни! Поедать, наживаться — вот девиз конца столетия. Бог распят! Крылья ангелов упали на землю, они затоптаны в грязной мирской суете...»

Инквизиторски обработав участок тела, вошь, видимо, решила отдохнуть.

«Сколько гадости, — сокрушался старик, — на одного больного человека! Мёртвого меня вы грызть не станете — кровь застынет!» Трупная вошь? Ему стало до блевотины муторно. И вдруг он с ужасом осмыслил то, о чём изредка напоминала совесть: паразиты на теле! А он?! Кто же — он? Заслуженное сравнение, нечего сказать! Паразит! Вот о чём говорили брезгливые взгляды прохожих... И это через 60 лет после рождения! Паразит на огромном теле Земли... Старик не стал возражать, выгораживая себя, а полностью согласился с этим. И стало ему легко и стыдно. Жизнь, подчинённая другим целям и другим желаниям, прошумела мимо.

В подземелье будто посветлело. Неожиданно он увидел жёлтые резные листья клёнов, устилавшие утренний плац близ Дюссельдорфа. Деревья в концлагере не росли. Листву занёс ветер. Увидел старика-еврея в первой шеренге, а рядом с ним большеголового мальчика. Старик протягивал шуцману тонкое золотое кольцо и что-то лопотал на непонятном диалекте. Людей собрали для умерщвления. Это знали все. Шуцман взял кольцо и отвёл мальчишку в другую колонну. Ох-ох! В разной очерёдности их удушили в газовых камерах. Заново осмысленная картина не давала покоя. Обобщенно это выглядело так: золото — материальное благо — вступало в отношения с людьми. А все-неч всему — небытие, горстка пепла. Золото вмешалось в жизнь, чтобы сохранить её. Но... Да что там! У старика-еврея была достойная цель. А он? Что значил и значит он — прощелыга-пьяница, не сумевший даже повторить себя в ком-то... «Вот дьявол, опять плакать хочется! — шмыгнув носом, старик разогнал сон выпуклых образов. — Хватит! Плевать на прашуров и потомство! Нужно уснуть. Немедля. Обязательно! К чему истязать себя? Прошлого не вернуть. А будущее — вот оно: кончается в настоящем. Мрак! Темень! Одно в другом. И — тишина без гроба, без могилы...»

Мысли взрезала живая молния, шерстью скользнувшая по руке. «Крыса! — ужаснулся старик. — Как и вши, жаждет крови! — Холодный пот ударил в поры. — Хорошенько дельце! Труп с обглоданным крысами лицом, труп без лица в прозекторской морга... Стоит только забыться, и они сразу кинутся на него. — Старик знал стайную организованность этих тварей.

Крысы как никто чувствуют болезнь и слабость, а разведчица уже пощупала его. — Ну, нет! Так просто дать себя сожрать!..»

Старик попытался привстать, но болезнь без труда швырнула его на обе лопатки. «Ладно, — выдохнул он, — будь что будет! Конец есть конец! И чёрт с ними, с крысами, — лишь бы не чувствовать, не видеть».

Он затих, стараясь погасить остатки мыслей, но зыбкое забытое уступило место постепенно нараставшей тревоге. «В больницу бы... — старался отвлечься старик с жалостью к себе. — Там спокойно, светло...». Но тут же представил себя в скверне всяческих несответствий — грязного, без одежды, дурно пахнувшего, и тотчас же успокоил себя, зная, что в больницу трудно попасть не только ему. Отвергнув больницу, старик впал в ярость. «Бомбу, — рычал он, — которая на двенадцать метров вглубь! В клочки! С трубами, землёй, крысами, вшами! И снег чтоб сыпал чёрный, траурный. Да на кой мёртвому траур?! Боги! Как душно! Скорей бы утро!».

Но до утра было далеко. Так, бранясь и плача, старик то гнал, то останавливал время. Он ждал самого страшного. Близилась полночь.

* * *

Крытая милицейская машина, сигналя синей мигалкой, не спеша объезжала кварталы участка. Нахальный свет фар выскребал подворотни, подъезды. Влюблённые парочки, разрезанные ошалелым лучом, вжимались в стены. Шаражались редкие собаки, трусливо поджав хвосты. А крупный снег сверкал нарядно,

празднично. Сонное урчание машины убаюкивало экипаж — трёх парней, по-домашнему расположившихся в фургоне. Они посматривали в окна и часто курили. В руках одного из них тихо поигрывал маленький транзистор. В кабине, рядом с шофёром, сгорбился худой высокий человек в штатском. Он ласково зажал между колен крупную голову розыской овчарки Найды — собаки тёмно-бурых мастей, тренированной и холёной. Собака ловила звуки, поводя островерстными ушами и преданно косила на кинолога. «Синеглазка», петляя в проулках, медленно приближалась к заводу...

* * *

Ни сон, ни явь, ни бред — опустошённость, предчувствие смерти подсущили старика как мумию. Он уже ничего не ждал от этой кошмарной ночи. Он просто жил, он щёк дышал. Обморочные ямы, в которые его бросала болезнь, казались неразглядимо пустыми. Только в одной из них ютилось кроваво-красное нечто. Тоска и страх коверкали борющуюся материю. Удушливая тьма закупорила пространство. Старик уже не помнил, в какой стороне находится лаз — направления спутались, и пришло время, когда он, углубившись в себя, стал неумело молиться.

«Отче, — шептали сухие чешуйчатые губы, — пособи!» Вероятно, эти слова застряли в нём с детства, и сейчас старость воскресила их. «Отче, пособи — возьми! Уведи из жизни! Больше не могу — тяжело мне, тяжко! Богородица, ангелы, черти — хорошие мои, придите! Непрестанно прошу. О, господи, господи...».

Старик молол чепуху без стеснения, во весь голос. Истошные выкрики проваливались в шепот. И узкий тоннель смоляной непроглядности заполнялся бредовым гомоном. Внезапно резкий спазм — будто шилом в пах — заставил его скряться. Старик, поджав ноги к подбородку, почувствовал, что легко, без усилия, мочится под себя. Такое с ним случилось впервые. «Почки прорвало или пузырь лопнул, — не ощущая страха, предположил он». Боли возникли частые, быстрые, словно нутро долбил острый клюв дятла. Ах ты, напасть проклятая! Всё сразу! Брюки пропитались горячей влагой. Боль скакнула в верх живота, и когда стало совсем невмочь, старик испуганно крикнул: «Люди, помогите!» Он перекатился к трубам и сразу уткнулся носом в свои вонючие опорки. «Господи, приблизь конец, не надо хуже! Ангелы, черти... Не казните!».

Безволосый череп на долю секунды прикоснулся к трубе. Кипятковая боль швырнула его обратно к стенке. Старик вжался в неё и некоторое время неподвижно лежал, утопая в спокойном беспамятстве.

Настырный пучок света вспорол склеенные веки. Ослепительное пятно качалось над головой, постепенно превращаясь в рефлектор карманного фонарика. Раскалённая нить маленькой лампочки гипнотизировала. «Менты!» — обречённо пронеслось в мыслях. Но брань и понукания, обычные в таких случаях, отсутствовали. Чертовщина какая-то! Рефлектор дёргался из стороны в сторону, будто им водила неведомая рука. Встревоженные нервы сразу приглушили болезнь: старик приподнялся. Теперь пучок света двигался на уровне глаз.

— Кто здесь? — произнёс он.

Истерика в голосе осталась безответной. Только в груди бешено топотало сердце.

— Кто здесь? — вновь прозвучал дрожащий фальцет.

В ответ — ни звука... Вопросы глотала ненасытная пустота.

На несколько секунд рефлектор застопорил движение, и сразу в ноздри ударил запах псины, лица коснулось сырое дыханье.

— Прочь! — завопил бедняга, пытаясь перекреститься... — Ату! Крест, крест, крест!

Раскатистый рык швырнул его на землю.

— Кто ты? — бормотал он. — Нечисть какая или собака?

Последовал легкий укус в плечо. Зубы лишь коснулись тела, но он сразу почувствовал их грозную, предупредительную остроту. «Собака!» — медленно утверждалось в сознании. Память подсунула рассказчику бродяг о травле их овчарками. Раньше старик не верил в такое. И вот она, цена неверия: зверь с фонариком на ошейнике, спущенный, чтоб... Старик застынал. Он знал — ему не отмахнуться. Эта тварь сразу вцепится в глотку. Выход один: покорно ползти под конвоем прямо в лапы милиции.

Старик деловито натянул пальто, нашарил и обул ботинки. Кожа обувки усохла, и напоминала колодки.

— Всё, Бобик, — твёрдо сказал он, напяливая фуражку, — разрешите ползти?

Собака нетерпеливо возилась над ним, и старик понимал, что пёс, толкавший его лобастой головой, предвестник неволи.

— Ну, псина! — шептал старик. — Больного, сучья кровь! Рви, подлюга, кусай! Р-р-р, не рычи, не боюсь!

Сильный толчок, лёгкий укус. Фонарик несколько раз мигнул и погас.

— Что, утроба, допрыгалась?! Свет, падлы, прицепили! Да не тычь мордой, виши, ползу! — старик часто припадал к земле, ловя ссохшимся ртом сквозняковый воздух. — Дурак ты собачий! А те, кто послал — собачее тебя! Эх, скотина! Джимик или как?.. Дай, погложу. Не хочешь? Пойди, скажи там, наверху, что никого здесь нет. Что тебе стоит! Хвостом вильнёшь, и всё такое... Ведь за сроком лезу! Большой, слабый, не хочу я туда! Оставь умереть. Бога буду молить за твоих щенят, за всю твою породу. Слыши, кобель? Или сучка... Всех щедрот попрошу твоему собачьему роду! Джимик, ты же всё понимаешь! Оставь меня, мочи нет!

В ответ на его болтовню мощные челюсти, словно тиски, сжали руку.

— Ой, больно, сволота! — старик рванулся с такой силой, что почувствовал, как острые резцы вспороли дряблую кожу. — Эй, подлюка! — разъярённо крикнул он. — Дожирай, отродье людоедское!

По запястью струилось своё, липкое и горячее.

— За что, сволочи! Эй, вы, там, слышите? Гады! Изверги! Уберите собаку! Я же ползу...

Животное беспрестанно бодало его чугунным лбом, а старику казалось, что вопреки приложенным усилиям выход отодвигался всё дальше и дальше.

— Стой, мочи нет! Дай передохнуть!

Он лежал, а собака суетилась вокруг, и ему виделся жёлтый блеск её сумасшедших глаз, и сам он будто вертелся в душном хаосе преисподней.

— Не хочешь ты понять... — старик перешёл на шепот, — что там, наверху, меня ждёт закон. А закон — люди, злые, жестокие! Пощады от них не дождёшься! Это уж я знаю точно. Не хочу встречаться с ними. Ты ведь всё можешь, собачка! Можешь уйти, можешь растерзать. Но пойми, зверюга, я — человек! Человек, понимаешь? Я не вор, не убийца, не мошенник! Какое от меня зло? Им? Тебе? Другим? Я болен. Дай мне тихо помереть в этой душной берлоге. Дружочек, милый, не хочу туда!.. Там — тюрьма!

— Р-р-р! — упрямый толчок.

— Нет, зверюга, ты не поймёшь! Ты — дух своих поганых хозяев, преданный и верный. Ты их тень! Ты их злость! И нет в тебе, чёрт собачий, ничего собачьего! Ты просто паскудная тварь — вот что я тебе скажу. Эх, был бы нож! Чтоб — под рёбра. И завертелась бы волчком! Да где его взять, ножа?..

И вдруг старик озарился внезапным решением: табак! Он вспомнил о табачной пыли день ото дня копившейся в карманах.

— Сейчас я тебя припудрю, падаль! — выкрикнул он, набирая в карманах табачную труху.

Старик выбрал момент, когда собака поддела его мордой, и наотмашь швырнулся в невидимые глаза сухую табачную пыль. «Держи, сука!» Визг, лай, плачь! Старик злорадно захихикал...

Собаку словно ветром сдуло.

— Найда! — послышался неподалёку встревоженный голос. — Что с тобой?

Старик напряг зрение и сразу увидел впереди мутное пятно света.

— Выход! — определил он.

Движение, возня, собачий визг тревогой отзывались в нервах. Теперь пощады не жди: аут, конец!.. Он прополз ещё несколько метров, пока не уткнулся в основание огромного вентиля. Лицо уколола стекловата изоляции. «Вот он где, лючок» — клюнула ненужная мыслишка. Старик взглянул вверх. Над колодцем силуэтно маячили склонённые фигуры.

— Вылезай, подонок! — произнёс молодой грубый голос.

Старик медленно поднялся. Его шатало.

— Этот тоже пьян! — бросил тот же голос. — Сам вылезешь? Или, сука, помочь?..

Старик уцепился за железную скобу, вделанную в кирпичную кладку колодца и почувствовал, что ему не выбраться.

— Ну, хитёр! Эй, хороши придуриваться! — летели фразы. — Да не падай! Сейчас подсобим!

Две пары сильных рук рывком выдернули его на поверхность. Дурнота тотчас подкатила к горлу, и он боком повалился на подмёрзшую, заснеженную землю. Снежный наст был прохладным, словно свежие простыни... Поток холодного воздуха прорвался к хрипящим бронхам...

— Ну, дела! Нажрался — что стоять не может... Чем собаку, сволочь? — сунулся новый голос.

Человек, склонившийся над ним, был похож на ворону. Рядом скулила огромная овчарка, тряся мордой и неуклюже протирая лапами глаза.

— Табак кинул. Скажи — табак? Эх, ты, сволота пьяная, дать бы тебе!.. Что стоим? Берите их в машину! Собаку угrobил, гад! — человек в чёрном вяло пнул его ботинком в бок.

Старик вздрогнул, привстал и только сейчас заметил рядом с собой пьяную старуху растрёпанным комком сидящую на снегу.

— И тебя, соколик, нашарили? — радостно прошамкала она. — Мне тож отдохнуть не дали!..

Тон её был залихватский, развязный.

— Давай выпьем на дорожку, дедок! Есть бутылочка!

На несколько секунд старик провалился в чёрную дыру беспамятства...

— Эй, паря! — старуха теребила его поникшую голову. — Что с тобой? Вы, ублюдки!.. — грозно прокричала она. — Посмотрите. Человек болен! Жар у него!

— Рассказывай, бабка! Милицию не надуришь! — стражи закона столпились над бродягами, не решаясь прикоснуться к ним. Оба существа были по-свински грязными.

— Ах, чтоб вас!.. — ругнулся сержант. — Как их браты!

— Я тебе возьму! — ощетинилась старуха. — Сказано — человек болен! Его в больницу надо. А вы!..

— Братъ обязательно! — настаивал кинолог. Он сделал шаг вперёд.

— Не подходи! Убью! — она швырнула в него горсть снега.

— Собаку покалечили! — канючил тот. — Я ему за собаку...

— Удавы траншейные! — окрепшим голосом вопила старуха. — Попробуй, тронь! Лучше меня берите! Хотите девочку?! — она приложила горсть пальцев к губам. — Смак девочки! Всех накормлю, всех насыту!

Ловким движением бродяжка выдернула из-под рубища серую бесформенную грудь, повисшую дряблым мешочком. — Товар, глядите, залюбушься!

Её сотряс хриплый хохот. Некое подобие платка сбилось набок, и она походила на пьяную ведьму. Под боком, в огромной сумке, позывкали бутылки.

— Есть и полная, — вещала она. — Припасла на похмелье... Ну, чего, голубчики, гребаете?.. Молоденьких вам подавай! Не бойсь, борозды не испорчу...

Собака по-прежнему тёрла лапами глаза и тихо скулила.

— Воды бы где... — вопрошал кинолог, — погубили собаку!

— В завод веди, — посоветовал кто-то, — там промоешь.

Кинолог встрепенулся, схватил овчарку за ошейник и поволок в сторону светящихся цехов.

— Ну что, дед, подымайся! — сказал сержант нерешительно. Он навис над лежащим и казался огромным.

«Шуцман», — подумал старик, вновь возвращаясь к прошлому.

— Не дам! — трезво отрезала старуха. — Не тронь — богом прошу!

Среди облав, пьяных распрай, драк, укрощаемых службой, сержант не часто слышал о боже. Он сомневался... В руке одного из солдат пел транзистор, настроенный на «Маяк»: «Эй, судьба, барабань на всю планету!»

— Выключи, — тихо приказал сержант.

Щёлкнул тумблер, и голос знаменитого эстрадного певца придавила упавшая с неба подмороженная тишина.

— Кровь, — предъявила улики старуха. — Собака погрызла.

Она подняла безжизненную руку старика и угрожающе потрясла ею.

— Бог — он всё видит! — пророчески подытожила она...

Сержант склонился над ними.

— А запаха нет... — сказал он. — Дедок, он и вправду того...

Они тихо посовещались.

— Дуба даст в машине, — долетали фразы, — кто ответит? А эту? Пусть останется, присмотрит за ним!

Старуха нутром уловила желательную перемену и слезливым голосом старалась расширить щёлочку доброты.

— Отпою, накормлю, выхожу! Клянусь, выхожу! Спасибо, родные! Оставьте нас! Помирать — так вместе!

Она прижала мокрые растрёпанные губы к лицу старика. Удушливый винный перегар плавился в морочном воздухе...

— Пошли, — сказал сержант. — Противно!

— А как же?..

— Пошли, я отвечаю!

«Добрый Шуцман», — дозрело определение, проглоченное с горьким слезливым комком.

Уже уходя, сержант вспомнил что-то своё, деревенское, давнее. Ему стало стыдно...

Старуха азартно громыхала бутылками.

— Сейчас, сейчас, — бубнила она, — не таких ноги ставила!

Наконец она нашарила в сумке поллитровку вина и привычно, двумя уцелевшими клыками колупнула фольгу пробки.

— Сейчас, милок, подлечим!

Старик ощутил, как сухонькие солидарные лапки подняли его голову.

— Держи глоточек, родимый!..

18.01.1981 г.

г. Торез, Донецкая область

ПРИГЛАСИТЕ МЕНЯ НА ТАНЕЦ

Глухой поселился в пещерке на берегу ручья. Раньше в ней добывали глину деревенские гончары, потом она была прибежищем мальчишек. Но постепенно одни вымерли, у других появились новые устремления, и вход зарос бурьяном. Эту нору и облюбовал Глухой, когда хозяин выгнал его из катуха. «Работать — работай, — говорил хозяин, — а живи, где хочешь!». Дело в том, что Глухой по пьянке уснул с горящей папиросой на сене. Возражать он не стал и сначала спал в саду, а потом, мотаясь за деревней, набрёл на пещерку. Нора ему приглянулась. Он вычистил её, притащил свежего сена и решил, что жить в ней можно до глубокой осени. «От людей подальше... И участковый не сыщет». Бояться участкового у него были причины. Освободился Глухой в конце февраля, а сейчас был июль, и он до сих пор не прописался. Срок Глухой отбывал за бродяжничество. Ещё в лагере он определил дальнейшие маршруты. «В деревню! Только в деревню! — въедалась пьянящая мысль. — К парному молочку, к солнышку, к сену...». Выйдя из лагеря, он ринулся в глушь, подальше от областных центров и, наконец, облюбовал колхоз «Чкалов» на границе Курской и Воронежской областей. В Правление он не пошёл — успеется, а сразу столкнулся с хозяином, в чьем дворе увидел столку нового шифера. Глухой был

мужик работягий: плотничал, штукатурил, крыл крыши. Хозяину, колхозному шофёру, такой человек был нужен. Глухой начал перебирать кровлю, нацеливаясь обложить кирпичом подвал и оштукатурить кухню. Хозяин исправно платил по договорённости, кормил, поил самогоном, пока Глухой, перебрав, не спалил катух. «Ну и ладно, — бормотал Глухой, устраиваясь в пещерке, — тут даже спокойней. А глина — она не горит!».

Был вечер субботы. Работу на сегодня Глухой закончил, плотно поужинал, выпил... Он сидел у входа и покуривал, глядя на пыль, поднятую колхозным стадом, в которой кувыркалось красное закатное солнце. До домов было не близко. К ним вёл неглубокий лог, поросший низким ивняком. Красной фольгой вспыхивала оцинкованная кровля нового дома Культуры. За ним виднелась замызганная церковь без купола — ныне амбар, да водонапорная башня у ближнего коровника.

Глухой смотрел на эту панораму и чувствовал себя отшельником, которому наплевать на кучное скопление домишек, на людей, в них живущих, наплевать на их суэтный мирок и устои... Он окинул взглядом свою нору и ощутил прилив одинокой гордости. Здесь, на отшибе, он чувствовал себя хозяином. Никто за ним не подсматривал, не одёргивал, не стыдил. Лет десять назад, после болячки в ухе, он стал плохо слышать. С возрастом, а было ему за сорок, глухота усилилась...

...Солнце на глазах оседало за лесистым пригорком. Пламенели мутные вершины деревьев. Глухой не жалел об уходящем дне, не торопил приближение ночи. В нём назревал расслабляющий покой после тяжёлой работы. Тишина внутри него и вокруг казалась безмятежной. Он

не слышал злых комариных голосов, а только чувствовал уколы, растирал на лице кровавые точки... Его чуточку тревожила зима, в которой нужно как-то устраиваться, но привычка жить одним днём гасила нудные мысли. Он нащупал под сеном бутылку с самогоном, вывинтил тугую бумажную пробку и плеснул немного си-вухи в залапанный гранёный стакан. Железкой от рубанка он откромсал кусок сала, положил на краюху житного хлеба и поднял стакан... Обросший бурой щетиной, он походил на язычника, совершающего обряд. «Хорошо! — крякнул он, закусывая. — Сколь мечтал о таком!». Крепкие клыки аппетитно мололи сало. В голове забурлил весёлый водоворот. «Хорошо! — повторил он, затягивая пробку в бутылку. — Ночью кончу, по холодку».

Он вытянулся на сене и долго смотрел в низкий потолок своего жилища. Угомонились паучки в паутине, и уже ползали, расправляли крылья ночные козявки. Наглая мышь прошуршила в сене... Ни о чём не думая, Глухой задремал...

Он проснулся от того, что кто-то наступил ему на руку.

— У, падаль! — взвизгнул Глухой и разом пробудился. — Кто здесь? — испуганно спросил он. — Да не топчи ты руку!

— Хоть бы спичкой посветил, дядька Ефим! Это я, Валька. Не признали?

Глухой, резво соображая, по голосу и очертаниям признал пятнадцатилетнюю хозяйскую дочку. Он приподнялся и прижался к стенке. «Валька... и впрямь Валька!» — корявые пальцы его ощупали голую ногу.

— Зачем сюда? Что, уже утро?

— Нет, дядя Ефим, ночь! Скоро двенадцать...

— Так зачем ты сюда? Придуришь бьёт?! Давай отсель! Поздно. Что мамка подумает!

Глухой ещё не совсем очнулся...

— Я к Вам, дядька Ефим! — настырно повторила девчонка.

Глухой смотрел в темноту, ничего не понимая.

— Небось, — наобум спросил он, — дома не лады? С батькой что случилось?

— Да нет же, дядька Ефим, ты лучше помолчи, и я помолчу! Очухаешься — тогда расскажу!

— А что мне очухиваться? — бормотал Глухой, нащупывая бутылку.

Он привычно вытащил пробку и сделал несколько обжигающих глотков.

— Сейчас спичку засвечу, — сказал он, ворочаясь в сене. Он нашёл спички, прикурил и на несколько секунд осветил Вальку. — Ты смотри, кто пришёл! — пробасил он бархатным похмельным голосом. — Ну, садись, рассказывай!

Но сесть было некуда, и девчонка плюхнулась рядом с ним на сено.

— Как у вас тут темно... — сказала она. — Как в могиле. И надо же, где устроились! — она явно пришла неспроста и не спешила выложить главное.

— Ну? — спросил Глухой. — В молчанку играть будем? Рассказывай!

— Из клуба я! — прямо в ухо ему прокричала Валька. — Танцы там!

— Ну, танцы, а дальше? — в мозг Глухого с трудом вплеталось её настроение...

— Отличница я, — без всякой связи сказала Валька.
«Значит, поговорить пришла», — решил Глухой.

— Ну, говори!

— Дядька Ефим, хочешь я тебе выскажу в сё?! — она быстро придвинулась к нему, ткнув в бедро острым коленом. — Некрасивая я, нелепая... Оглобля я, торфушка я, золушка, и принца у меня нет! Никто на меня не смотрит! А в клуб записи привезли. И «Роллинг Стоунз» и «Бонни М», и все в трансе...

— Чего, чего? — не понял Глухой.

— Музыка такая, что все танцуют — и все в небесах! А я... Я сижу — и никто. Хоть бы один ... взгляном дотронулся! Всё Любку Шимякину, Динку Валуеву да сестёр Гуровых щупают! А меня... Даже участник Васька Свешников — и тот мимо! Будто меня нет, будто я и вовсе пустое место! И тряпки у меня, и серёжки — вон — золотые, и часы электронные... И в школе одни пятёрки! Знаю, нос кривой, отцовский, «станком» не вышла, и ноги как жерди... Так, что ли, дядька Ефим? Ты слышишь?

— Слыши!

Валька прохладной ладонью провела по его лицу.

— Вот я и пришла к тебе! К вам пришла. В ваш замок! Пригласите меня на танец, дядька Ефим!

— Вот дура, — мрачно изрёк Глухой. — Мне бы твои заботы! Да ты ещё такого найдёшь, что... — и вдруг горячая догадка коснулась его, обожгла и отхлынула. — ...Найдётся и тебе... — пробормотал он, совсем по-новому ощущая прикосновение острых колен. Он нашёл руку девчонки. — Ты это брось! Всё у тебя будет!

— Ничего у меня не будет, дядька Ефим, поверь!

— С чего это ты решила? С чего?

— А вот послушай! Жизнь сейчас такая...

— Какая?

— Все куда-то спешат — не заметил? Спешат на базар, спешат в магазин, спешат в город. Сколько их уехало в город! А зачем? Разбивать лбы? А потом разбредаются по стройкам и заводам. Будто своих дураков там мало... А знаешь, почему спешат? Скоро конец всему!

— Как — конец? — не понял Глухой.

— Ну, не так скоро, а лет через двести.

— Это вам в школе рассказывали?

— Да! Но не так прямо, а смекнуть можно. Нефть кончается! Газ кончается. Уголь... Золото... кончается. Все богатства из шарика скоро повыгребут. И климат скоро изменится, потому что природу губят. Вон у нас Руденков сад повырубили! А какие яблони были! А у церкви, сволочи, пять вязов под пилу пустили. Сельсовет на том месте хотели строить и — не построили. Пни корчевать — трактор сломался! Крепкие деревья, и сколько им лет — никто не знает! Это я к тому, что скоро... конец света! Правильно бабка Суниха глаголет: спеши жить при жизни!

— Ну и спеши, — напутствовал Глухой. — Кто мешает? На наш век и деревьев, и золота хватит, — он прикоснулся к маленькой блёстке в Валькином ухе. — Значит, ты и пришла ко мне — вроде конец света завтра? А почему ко мне? — спросил он с проснувшейся подозрительностью.

— Чтоб по деревне никто не разнёс! — прямо ответила Валька. — Я пришла потому, что хочу стать женской, понятно?

— Значит, чего ты от меня хочешь? — словно в медовом горшке ворочалось сердце...

— Дурак ты старый! Кто уж яснее скажет! — скоро-
говоркой пропела Валька.

— Ишь ты! — прошипел Глухой, тиская её колено. — А мамка узнает? С кольями прибегут! Забьют Ефима...

— Не узнает! Ей всё равно.

В Валькиных словах слышалась твёрдая уверенность. Она легла рядом с ним. Глухой ощутил аромат чистого, живого дыхания.

— Ну! — сказала Валька и зло прижалась к нему. — Да ты не бойся! Не думай, что я пацанка. Мы физиологию «проходили». И от чего дети бывают — тоже знаем!

— Родненькая! — дыхнул сивухой Глухой. — Боже, прости! Голубка ты моя! Гуля замечательная! — Он легко обвил цепкой клешней податливое тело девочки...

Ночь уходила. С ручья в пещерку тыкался туман. Умоляли лягушки запруды. Горело огнём ухо Вальки, натёртое жёсткой щетиной Глухого.

— Всё, дядька Ефим, сказала она, — пойду!

— Погодела бы... Хорошо с тобой!

— Пойду. Уже поздно, — она заворонилась в сене и на четвереньках выползла из пещерки. — Холодно! — донёсся её быстрый голос. — Побежала я! Отдыхай!

К горлу Глухого внезапно подкатил ужас одиночества.

— Валь, постой! — крикнул он, рывком вскочил и выглянулся из пещерки.

Силуэт девчонки колыхался в тумане. Ему стало зябко. Остатки самогона он выпил как воду, закурил и долго сидел, прислонясь к глинистой стенке, зная, что уснуть уже не сможет... И вдруг почувствовал страх, будто холодной ладонью накрыли сердце.

— Козёл драный! — выругался он, ударяясь головой о низкий потолок. — Так вlipнуть!

Он схватил в изголовье пиджак и поспешил напялил его. Бежать! В темень, без оглядки!.. Он представил зверские глаза мужиков. Треск рёбер. А потом? Потом отволокут в кусты. Милиция приедет, и десять лет впаяют по 117-й — как пить дать! Тогда доказывай!.. В кармане пиджака он нащупал деньги — три пятёрки и трёшку. Что ешё? Сало! Он сунул его в карман. Инструмент? Хрен с ним! В туман! Бегом! Галопом! Скорей! Стой — не остановишь! Плёткой в зад, шпорой в пятки! Он ухнулся, выкатываясь из пещерки. И, не думая о направлении, ринулся в темень...

Утро выдалось тихое, золотистое. На пригорке под ближним к деревне стожком дремала Валька. На лице её слезинка прочертчила узкую полоску.

Назревал новый день конца двадцатого столетия.

27.03.1981 г.

ГЕНКА

Генка листал «Борбу» — иллюстрированный югославский журнал, когда я ввалился к нему в комнату. Он свободно читал по-сербохорватски. На работе, когда мы копались в шурфе, он выкрикивал гортанные английские фразы. Не знаю, был ли Генка силён в английском, но тексты под красочными видами Адриатики читал и переводил мастерски.

В кармане у меня плескалось полбутылки водки. Генка отбросил журнал, потянулся и зевнул. Его новый перстень со странным мутным камушком колко сверкнул на безымянном пальце.

— Да, — сказал он, подавляя зевок, — погодка...

Я выставил водку на стол.

Генка оживился и сел.

— В честь чего? — спросил он и постучал перстнем по наклейке.

— Слякоть! — сказал я и швырнул брезентовую куртку в угол. — Сырость! — и набухшая шапка полетела туда же.

— Выпить, — в тон мне сказал Генка.

— Да, выпить.

Генка поднял на свет стакан. На донышке рубиновым ободком засохло вчерашнее вино.

— Надо ополоснуть! — он сунул длинные волосатые ноги в рваные калоши...

...Мы пили с Генкой и закусывали грибами. Их в эту осень выдалось много.

Потом он сбегал в сельмаг и принёс ещё две бутылки водки, банку рыбных котлет и десять крепких как стылый гудрон пряников. Мы пили и пьянили. Говорили о разном, и мысли казались нам большими и значительными. Они то походили на кумач праздников, то вились как ленты траурных венков... За окнами порошила мгла. Лампа-молния грела нас. Было уютно и очень дружно нам с Генкой. Мы доходили до сокровенностей и по опыту знали, что назавтра всё забудется...

Генка уплыл от меня в другой угол комнаты. Я помню, что возвратился за курткой, и, стараясь не производить шума, как это делают только пьяные, спустился с крыльца.

Седыми космами ведьмы полосы мги шевелились во мгле. Я облокотился о забор.

...Безликость местности исступленно толкнула сердце. Я выпал из времени и растерялся. Тогда я нагнулся и потрогал землю. Между пальцев у меня просочился густой холодный кисель. Я брезгливо тряхнул пальцами наотмашь в шуршащую мелким дождём пустоту. И — увидел улыбку, странную, до ужаса прозрачную.

Улыбалась женщина из мрака улыбкой отвратительной и прекрасной. Что-то славянское было в этом лице. Позже это лицо напомнило мне идолов с острова Пасхи. Женщина звала меня. Она обнажила зубы. Я никогда не мог подумать, что зубы могут вызывать страсть. Я поцеловал её, и ощущил твёрдость кости... и

ещё — запах осины, и — если оно пахнет — запах колдовства. Я обнял стылое тело, упругое тело, живущее странной неподвижной силой и... ослеп, или... уснул...

Генка подобрал меня грязного и пьяного и всё удивлялся, как я не простудился.

В воскресенье я поехал в Третьяковку и долго ходил по залу икон, искал, но ничего не нашёл....

г. Симферополь, 197... г.

УГОЛ

Лёнька Бируля сидел в тюрьме. Освободился. Вновь сидел и освобождался. Как-то Лёньке пристрелил ногу совхозный сторож. Лёнька выронил мешок, и ворованные куры разбежались. Бируля, хромая и ругаясь, дотащился до дома и затаился, а когда запах гниющего мяса стал невыносим, отправился в больницу.

— Гангрена, братец, — сказал врач.

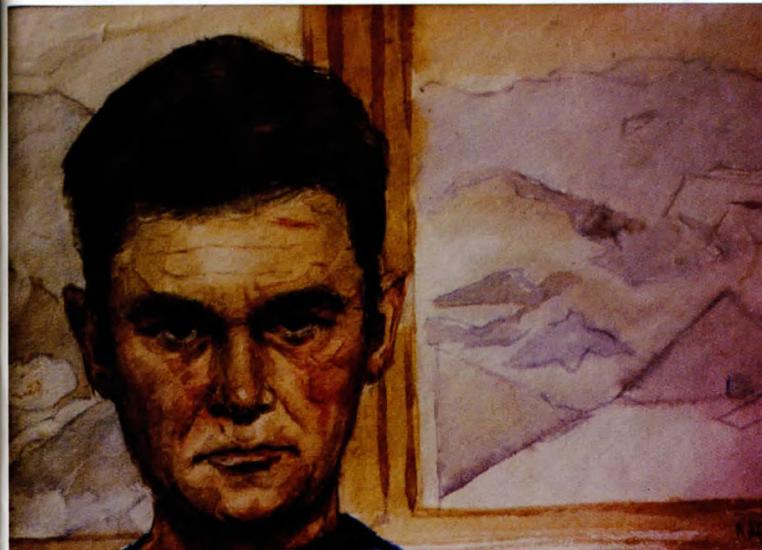
Ногу Лёньке отрезали.

Теперь Лёнька стоит на вокзале то у бочек с вином, то на углу, у магазина. Он прямой и сухой, как его костили. Глаза мутные, лицо серое... Говорят, у него туберкулэз. Иногда Лёньку угощают вином, но обычно он стоит просто так, с самого утра, каждый день. Одна и та же музыка провожает поезда, а люди разные. Они спешат всегда, и это раздражает Лёньку. Его раздражают загорелые ноги девушек, шорты парней, рюкзаки, чемоданы, туфли-шпильки, кеды, костюмы, галстуки, виноград на лотках, запах хлеба из соседней булочной, вечерние фонари и бой часов на башне. Лёнька ворочает во рту потухшую папиросу, и худые пальцы скимают ручки костылей. А люди идут и садятся в такси и троллейбусы. Шуршат шины, и шуршание шин злит Лёньку. А лица людей как праздник, как светлый день... Лёнька ковыляет к бочкам, где продают сухое вино и говорит кому-то из пьющих: «Оставь глоток, братуха!»

Поздно вечером Лёнька медленно идёт домой, не твёрдо, но очень прямо. Его обходят, боясь задеть, и это тоже злит его. Тёмный переулок, тёмный двор. Постаревшее дерево с тёмными листьями. Лёнька садится на кровать и с грохотом швыряет костили. Сухонькая мать суетится. «Ложись, Лёнечка, усни, сыночек».

Лёнька облизывает сухие губы, просит пить и засыпает. Иногда Лёньке снится девушка, торгующая виноградом. Она протягивает ему огромную янтарную кисть, и Лёнька жадно пьёт терпкий солнечный сок, а девушка улыбается. Лёнька просыпается, нащупывает алюминиевую кружку и тихо плачет.

г. Симферополь, 1968 г.



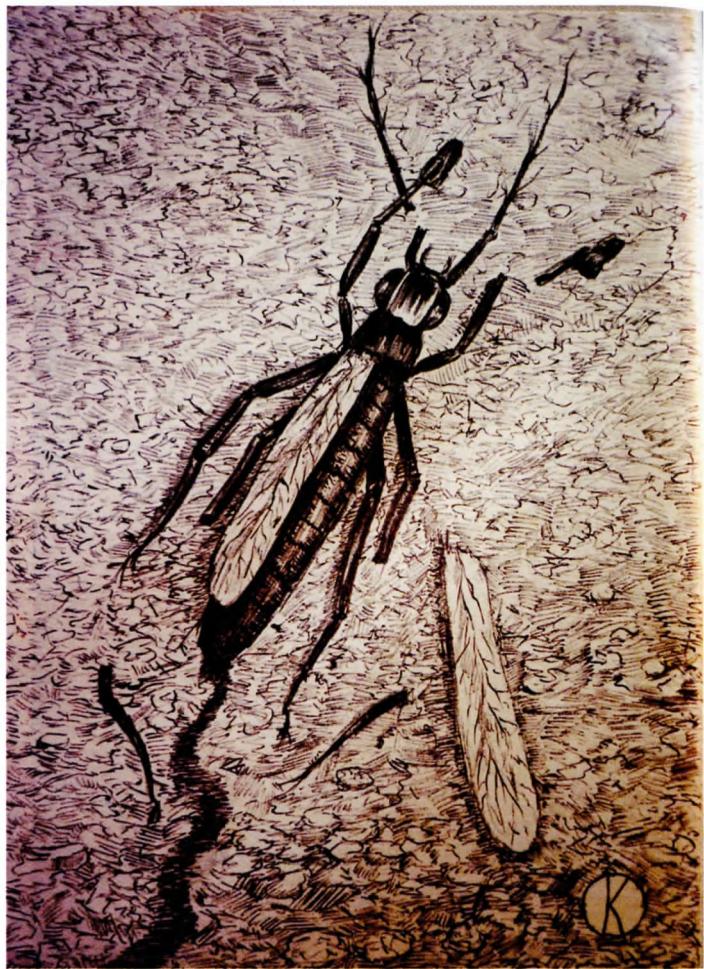
Автопортрет



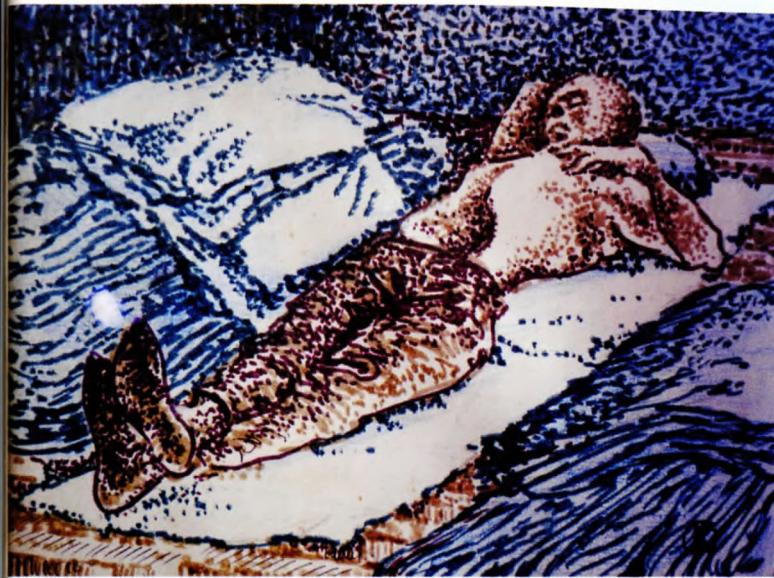
«Колокола» (из иллюстраций к Э.А.По)



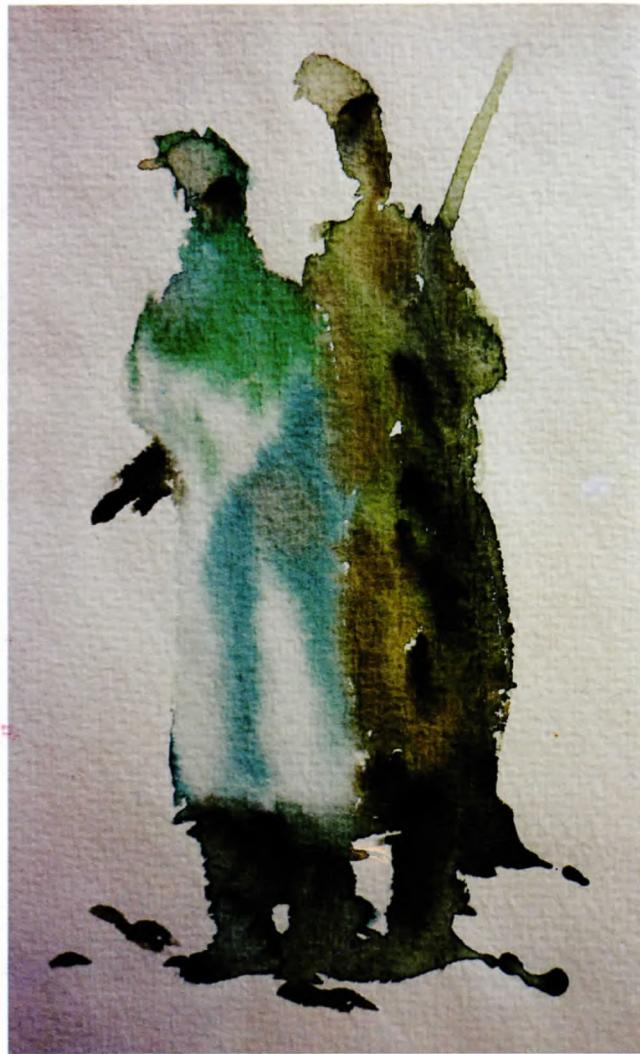
«Колодец и маятник» (из иллюстраций к Э.А.По)



Насекомое



Отдыхающий



Люди войны



Неизвестный



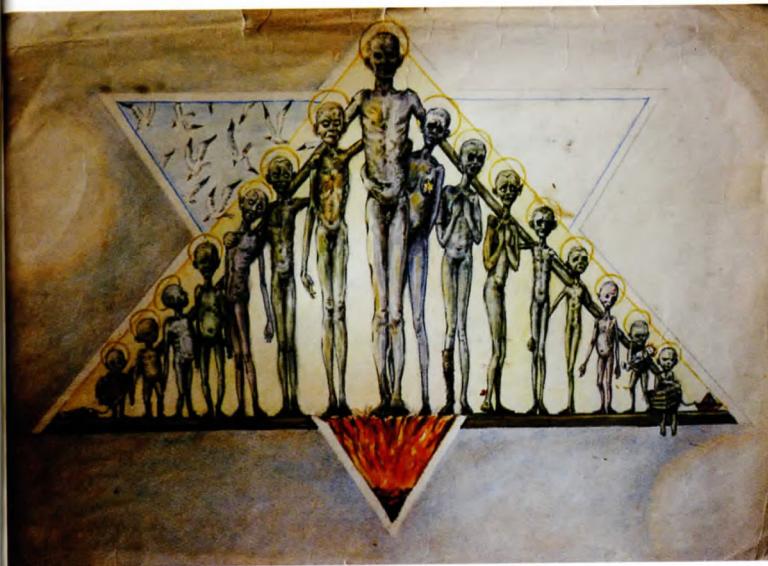
Стенка



Любовь



Распятие



«Кадиш»
(По А.Галичу, посвящается Я. Корчаку)
незакончено



Вечность

КОРОБКА ИЗ-ПОД ЗУБНОГО ПОРОШКА

На скамейке — полиэтиленовая коробка из-под зубного порошка «Детский».

Оттиснутые на крышке буквы расположены как-то странно: и вкривь, и вкось. Коробка компактная, удобная. Демидову она служит пепельницей. Ночь. Втиснутый в коробку горящий окурок светит последним огоньком. Сигарета тлеет и никак не хочет угасать. Демидов смотрит на неё, и красная точка притягивает мысли. Мыслей мало, они вмещаются в сигаретный огонёк. Их догорающий смысл противоборствует оставшейся жизни. Жизнь, какая она есть, похожа на окурочный хаос полиэтиленовой коробки, в которой по-особому притягательный уютный мирок, буднично-неряшливый, пересыпанный спичками, пеплом, смятыми окурками. В нём всё имеет форму. Лишь пепел аморфен: лёгкая серая пыльца. Но в ней особый намёк, сжатый рисунком ёмкости. Демидову хочется уйти-проникнуть в этот окурочный мир, смеясь с ним, раствориться в нём. Там существует непонятное ему и оттого притягательное подобие замкнутой жизни, полной остывающего тепла и тления. Там — смысл обычного в необычном, главенствующий над людскими понятиями. Там быстротеч-

ность мгновений. Там в догорающей сигарете гаснет чьё-то одиночество. Там — распад бытия: превращение в тлен и пепел.

Демидову всё больше хочется втиснуться в эту замкнутую промежуточность между жизнью и смертью, раствориться в ней, смешаться с содержимым и хоть короткое мгновение побывать искоркой огня, уходящего в Вечность.

22.12.87 г.

ГАЛЕРА

Он видел детство: ров, поросший пыльным бурьяном, ров-свалку. Жёлтые жуки дробно, с налёту, шлёпались в жухлую траву. В листьях лопухов колыхались оборванные струны паутины. На дне рва высыпал плоский и, казалось, мумифицированный труп кошки.

Ров кончался в затхлой речушке. Отбросы кожевенного производства растворялись в быстрой воде. Берега омывала мутная слизь.

Однажды вода в ручье стала прозрачной и запахла «водой». И он вспомнил, как наклонился и увидел на илистом дне пескаря. Рыбёшко юркнула в золотистую жесть консервной банки.

Он видел детство, но мрак комнаты, потолок, плоский, как Ничто, отгородили его от звёзд, и видения тонули в слизи мутного ручья.

Качалась тишина, а когда потрескивали доски старой кровати, он прислушивался, стараясь понять язык убитых деревьев.

Раньше в ночи комната только колыхалась, как чёрная галера, ставшая на якорь. Теперь — плыла. День ставил стены отвесно, и он с опаской осматривал трюмную сырость по углам. Часто он думал о себе, что полощется, как бельё на ветру, что всё правильно в жизни, и он расплачивается за что-то жестоко, но спра-

ведливо, и он сырел и старел, и ночная бессонная жизнь воспринималась необходимой значимостью в плывущей комнате.

Комната — галера. Он ждал ночи, чтобы плыть. «Раз, два», — падали вёсла. Он видел тени рядом с собой и слышал их имена. Не наши. Чужие. Но утром забывал. Однажды имена зажглись в сознании. «Рене, — повторил он, — Бимба!» Справа и слева. Два имени. Он — третий. Он уже знал, что скажет ночью, но был шторм, и его качало и швыряло. Волнами захлестывало холодное, скользкое одеяло. Его шатало. Он звал. Он глотал крошево льда и снега. Он падал в бездну! Он был сброшен с койки силой океана и долго, очень долго его поднимал рассвет сквозь мутные щели ставень.

1967 г.

НЕ ДОЖДЬ ПОГАСИЛ ФОНАРИ¹

«Не стоит говорить о войне...»
(Из услышанного разговора)

Рути

Смрадно дымило тряпьё. Два дня, как это кончилось, а тряпьё всё ещё дымилось.

— Сучья вонь, — сказал Лёдик и закашлялся.

— В натуре дышать нечем, — согласился Спирька.

К вони тряпья примешивался сладкий запах разложения.

— Как думаешь, много их тут? — спросил Спирька.

— Иди посчитай! Отрой и посчитай, — Лёдик зло цыкнул сквозь зубы слюной. — Всех, сколько было в городе, всех вывезли.

— Говорят, не немцы, румыны косили...

— Кто тебе сказал?

— Да так, слыхал...

— А я слышал — татары, — Лёдик зажал ноздри и вновь сплюнул. — Гадская жара, — гнусаво сказал он. — Толкнём отсюда!

Они стали проридаться сквозь низкие дубки. На небе ни облачка. Только солнце и вонь. В кустах валялась всякая дрянь: стоптанные дамские туфли, рваные чулки... Всё мерзкое, трупное. Лёдик поддел ногой

¹ Отрывок из ранней повести.

чёрную дамскую сумку. Под ней свилялась маленькая серая гадючка. Лёдик прижал её шипом немецкого ботинка и начал втирать в сухую землю. Гадючка острой головой стреляла в ботинок. На нём высыхали капельки яда.

— Чего в сумке? — спросил Спирька.

Лёдик поднял её и брезгливо выпростал. Сухой бутерброд, несколько фотографий, пожелтевшие справки, коробочка... А в ней пряди волос — чёрная и белая. Пудреница с треснувшим зеркальцем и пять марок.

— Марки-то возьми, — посоветовал Спирька.

— Вообще... да, — Лёдик сунул марки в карман. — Давай порысачим. Может, ещё чего найдём.

— Давай!

Они начали шнырять по кустам, но запах так настоялся в них, что противно было нагибаться и что-то поднимать.

На спуске к заросшему окопу они увидели девушку, и заглянули в её страшные глаза. Глаза были пусты. Зрачки тускло мерцали за гранью горя, за страданием.

— Жидовка, — шепнул Спирька.

— Она самая... — отозвался Лёдик.

— Я, кажется, встречал её раньше в городе...

— До немцев?

— А ты думал! Сейчас не погуляешь.

— Как же она цела?

— Спроси у неё.

— Эй, давно ты тут сидишь?

У девушки дрогнули веки.

— Не знаю, — сказала она.

Голоса у неё не было. Она просто хрипло шепнула, потому что долго молчала.

Лёдик присел на корточки.

— Ты помнишь меня, красивая? Я пробовал подкладываться к тебе на Пушкинской?

Она с трудом смотрела в глаза парня.

Лёдик встретил её взгляд выжидающе. Рядом топтался Спирька. В его любопытство закралась тревога.

— Да говори, мы свои. Не бойся! — Спирька тоже присел. — Ну, как тебя зовут?

— Рута, — чуть слышно ответила девушка.

— Давай, рассказывай! — Лёдик нервно кусал травинку.

Рута начала всё тем же хриплым шёпотом: «Я не знаю, когда это случилось... Нас привезли сюда всех: меня, маму, бабушку, — она задрожала и всхлипнула. — Сказали, что на работу, в другой город. Всех, всех. Потом поставили пулемёт... Нам говорили раньше... мы не верили... — Рута сбилась и начала теребить волосы. — Потом нас раздели...» — Рута часто-часто задвигала подбородком и больше не могла сдерживаться... Лёдик положил ей руку на плечо. Девушка прижалась к ней глазами и плакала. Все трое молчали в горячей паузе слёз.

— Успокойся, мы — свои. Не плачь, — Лёдик не знал, что делать...

Неожиданно Рута заговорила быстро, немного заикаясь:

— Потом меня подозревал офицер-румын и повёл в кусты. Потом пришёл второй, потом — третий. Он посмотрел на меня и сказал: «Не надо, девка!» и выстре-

лил два раза из винтовки в землю. «Можешь жить!» — сказал он и ушёл. Потом ужасные крики, выстрелы. И... Я не всё помню... Потом ночью мне казалось, что стонет земля. Потом я спала. Вот.

Она тихо всхлипывала. Тело Руты было прикрыто какой-то рванью. Видимо, эти лохмотья она надела на себя позже. Так она сидела, поджав ноги, воспалённая, дыша зноем и смрадом.

- Что будем делать? — спросил Лёдик.
- Домой, чего ещё делать, — Спирька потупился.
- Нет, с ней?

Спирька покал плечами.

- Она сдохнет, — заключил Лёдик.
- Да и я-то думаю, что сдохнет...
- Может, возьмём её, — Лёдик не смотрел на Руту, — и втихую на чердак?

- На чей чердак!?
- Ну... на мой.
- А дальше!?

— А дальше, а дальше! — передразнил Лёдик. — Подымайся! — сказал он Руте.

Рута поднялась и тотчас села. В ноги вонзились тысячи раскалённых иголок.

- Что, отсидела? — спросил Лёдик.

Рута кивнула.

- Ты вытяни, сейчас отойдёт.

Рута вытянула ноги. На них засохла кровь.

- Аль, посмотри на её крепдешину, — сказал Лёдик.

Спирька более внимательно взглянул на одежду Руты, на её ноги. Ему стало муторно.

— В таких шмутках ей капут. Да и нас сцепают. Может, найдёшь чего получше...

— Если найду, — Спирька помялся и нехотя нырнул в кусты.

* * *

Он долго не появлялся.

Лёдик смотрел на загорелые ноги Руты. У него возникло мимолётное желание. «Если бы не кровь», — подумал он.

- Приятно? — хрипло сказала Рута.
- Чего приятно?
- Смотреть на меня такую...
- Иди ты! — обозлился Лёдик. — Заговорила! Надо было драпать, а не встречать фрицев «хлебом-солью».
- А ты что остался? — спросила Рута.
- Меня ещё не ставили к стенке.
- Ждёшь, когда поставят? Спаситель!
- Я не жид. И не коммунист.
- И не комсомолец, — продолжила Рута. — Кто же ты?
- Русский, — сказал Лёдик.
- И только-то! — Рута попыталась сделать пересохшими губами брезгливую гримаску. — Можете катиться, — сказала она, бледнея, — я не звала вас, рыцари без страха и упрёка.
- Мы сдадим тебя полицаям, — сказал Лёдик и сдвинул веснушки под злыми щёлочками глаз.
- Иуды! — голос Руты зазвенел.

— Это мы?! — Лёдик смотрел на неё в упор. — Сами продали Христа...

— Уже снохались? — прервал их Спирька, бросив комок одежды к ногам Руты.

Он появился внезапно — Лёдик даже вздрогнул.

— Снохались, говорю, соколики? — повторил Спирька.

Лёдик ногой отшвырнул вещи. Чёрный шелковый шарфик в дырочках повис на ветке куста траурной лентой.

— Пойдём, Алька. Ничего не нужно. Эта тварь ещё нос задирает! Пойдём! — Лёдик оттолкнул Спирьку.

— Да что у вас? — спросил тот растерянно.

— Пойдём, говорю!

Спирька сплюнул и выругался.

Когда они скрывались в кустах, оглянулся только Спирька.

* * *

Рута осталась одна. Ужасно хотелось пить. Жажда подступала приступами. Хоть каплю воды, хоть капельку! Казалось, что потрескались язык и нёбо... И ещё солнце, этот ослепительный, лоснящийся шар обугливал уже обожжённые чужими поцелуями губы. Что-то похожее было в детстве, когда Рута болела. Жар наплывал липкой, горячей волной... И — чистые простыни, и мама читала сказки и давала остывшего чая с лимоном. Даже болеть было приятно тогда, в детстве. «Мама!

Рута не хотела думать о ней. Это было выше страха за свою жизнь. «Нет, нет! Мама жива! Это я умираю. Мама! Мамочка!» — она, изверненное, крикнула и очнулась.

Висел чёрный шарфик неподвижно, мёртво. Поэтому что не было ветра. Только зной. Рута взглянула на вещи, которые принёс тот парень. Стоптанные туфли сохранили форму чужих ног, теперь уже мёртвых.

На куст села птичка. Она повертела хвостом и улетела. Рута прижала горячую голову к сухим дубовым листьям... Листья пахли осенью.

* * *

— Вставай, — сказал Лёдик, — живо!

Парень расплывался в глазах и казался огромным.

— Вставай, одевай эту рухлядь. Мы отвернёмся.

Рута старалась войти в действительность, но всё плыло, качалось.

— Я не могу — сказала она. — Идите.

— Можешь! — свирепо крикнул Лёдик.

Рута поднялась. Парень действовал на неё как гипноз, как приказ.

— Встала? — спросил он, не оборачиваясь. — Теперь одевайся.

— Не могу, — всхлипнула Рута, — всё кружится...

— Альк, помоги, — сказал Лёдик.

— Я в няньки не нанимався! — у Алика всегда пропадала буква, менялась от волнения.

— Помоги, скот!

— От скота свыши!

Рута пыталась надеть первое, что попалось — шерстяную юбку. Спирька, зайдя сзади, неумело натягивал полосатую блузку. Рута водила рукой и никак не могла попасть в рукав. Блузка трещала.

— Ну, скоро вы там?

— Сейчас! — сказал Спирька.

Лёдик обернулся. «Какая стройная», — подумал он, глядя на Руту.

— Туфли одень, — сказал Лёдик.

Рута пошатнулась, надевая туфли. Спирька поддержал её. Туфли были велики.

— Ничего, — подбодрил Лёдик, — дотопаешь!

— Куда? — спросила Рута.

— Там увидишь.

* * *

— Обмойся, — сказал Лёдик.

Родничок лениво шевелил крупинки чистого песка. Рута пила долго и жадно. Поднимаясь, она сдвинула камень. Из-под него мутным шариком покатилась мокрица.

Пока Рута мылась, парни поднялись на насыпь и смотрели на низкую стенку лагеря военнопленных. Стена была там, за свалкой. Часовой лениво дошёл до угла и повернулся обратно.

— Если по шпалам — сколько до Севастополя? — спросил Спирька.

— Говорят, семьдесят...

Парни посмотрели на рельсы. Прямые, они были нацелены на юг, сливались в перспективе и голубели, как море.

— Да, молчит Севастополь, — сказал Спирька. — Тихо как-то...

— Давай вниз, — подстегнул Лёдик, — ещё обходчик увидит.

Они спустились с насыпи.

— Я уже! — Рута вытерла руки о подол юбки.

Она стояла растрёпанная и больная, в одежде с чужого плеча, но умытая. Чистая. Совсем-совсем девочка.

— Пошли, — сказал Лёдик.

Они миновали пустырь, заросший пыльным бурьяном и перешли по скользким доскам вонючую речушку.

— Я не могу! — остановилась Рута.

— Что ещё? — Лёдик хотел выругаться.

— Подожди, Лёдь, не кричи. Видишь...

Руту рвало водой.

— Опилась, — буркнул Лёдик

Оба стояли и ждали.

— Всё, — сказала Рута. Её покачивало.

— Всё или ещё? — спросил Лёдик. — Смотри, там негде будет!

— Не буду больше.

Но её опять скорчило.

— Страшно смотреть, — сказал Спирька.

Рута упала и тихо стонала.

— Ладно, не спеши, подождём, — сказал Лёдик. Он достал окурок сигареты и долго чиркал колёсиком зажигалки, стараясь зажечь фитиль. Искры сыпались, но фитиль не горел.

— Аль, дай кресало, бензин кончился.

Спирька достал плоскую коробку. Лёдик открыл её и достал кусок напильника, кремний и вату.

— Вообще я от зажигалки, — сказал Лёдик и чиркнул искрами на вату. Вата занялась огоньком. Лёдик прикурил.

— Оставиши, Лёдь!
— Оставило,— он передал Спирьке коробку.
Они подымали окурком.
— А можно мне покурить? — спросила Рута.
— Ещё чего! — Спирька растоптал кончик сигареты. — И так еле дышишь. Давай, пошли!

* * *

По мосту, к которому они приблизились, в облаках пыли катились машины.

«Как всё ново и странно...» — подумала Рута. Она начала дрожать.

На мосту стоял немец-регулировщик, а чуть пониже, у поворота, охранник-татарин.

— Теперь в оба, — шепнул Лёдик. — Немец — пустяк! Вон тот, татарская рожа, может застукать. Вы идите прямо, а я подойду к нему.

— Брось дрожать, Сара, — сказал Спирька.

— Рута, — поправила девушка.

— Всё равно, брось дрожать, — и взял её под руку. — Учти, если что, всех кокнут. Тебя — сама знаешь, а нас за то, что были там. Спокойно.

Они прошли регулировщика. Татарин повернулся и смотрел на них с любопытством. Лёдик пошёл быстрее.

— Здорово, Мусса! — крикнул он охраннику. Тот приветственно поднял руку.

— Стоишь?

— Нет, сижу, — язвительно ответил татарин.

— Жарко, — вздохнул Лёдик.

— Откуда идёте? — спросил татарин.

— Да туда и обратно...

Рута и Спирька прошли мимо. Они держались неестественно прямо. Спирька поздоровался.

— А эта откуда? — татарин посмотрел на пыльные ноги Руты.

— Да шмара с цыганской слободки, — ответил Лёдик.

— Так вы вдвоём? — хихикнул татарин.

Лёдик сделал серёзное лицо

— Дай я тебя отряхну. А то стоишь как мельник. Он забарабанил ребром ладони по старому немецкому кителю.

— Фу! — татарин выдохнул пыль и выругался.

— Сигаретку не дашь? — спросил Лёдик.

— Нема.

— А продать? — Лёдик вынул марку.

— Нету, — сказал татарин.

Спирька и Рута свернули за угол.

— Ну, ладно, бывай!

— Эй, постой, — татарин полез в карман. — Давай марку!

— Только и всего, — сказал Лёдик, беря пять сигарет. Он догнал Спирьку и Руту.

— Придём — покурим! — он показал Спирьке сигареты.

— Дело дрянь, Лёдь! — сказал Спирька и кивнул на ногу Руты. По ней скользила пыльная струйка крови.

— Пойдём, — шепнул Лёдик, но во рту у него стало сухо.

Медленно проехала крытая машина. В ней, обнявшись, сидели солдаты и пели. Один швырнул ог-

рызком яблока, наверное, в Руту. Но не попал. Солдаты что-то крикнули и заржали. Лёдик криво усмехнулся.

— Сволочи,— сказал он.

Голая арифметика

— Как тебя зовут? — спросила Рута.

— Лёдик.

— Это что, имя?

— И то и другое.

— А что другое?

— Ну, в общем, и то и другое. Не приставай.

Лёдик сидел и курил. Он ждал, когда Рута поест.

— Ты лучше лопай, — поторопил он.

— Спасибо. Не зажги солому, — улыбнулась Рута.

— Не зажгу. Я должен отнести миску.

Крыша нагрелась и солома тоже. Внизу закудахтали куры. Лёдик посмотрел в щёлку дверцы. Маленький солдат-немец отворил калитку и заглянул во двор.

— Хм! — сказал Лёдик. — Гость пожаловал.

Рута перестала есть.

— Кто? — спросила она.

— Ты ешь, ешь. Ничего особенного. Так, солдатик. Эти не страшны. Фронтовики. Придут, уйдут.

Солдат подошёл к бабке Лене и что-то спросил. Бабка на примитивной печи из старого ведра, кирпичей и глины варила конину. Конину принёс он, Лёдик.

— Рут, ты ешь конину?

— Ем, как видишь, — Рута жевала синеватое постное мясо.

— А свинину?

— Мне всё равно.

— Ах, вон оно что! — усмехнулся Лёдик.

— Ты о чём? — спросила Рута.

— Да немец сортир спрашивал.

— Благородно, — сказала Рута. — Я всё же обедаю.

— Вот, гад, уселся, а дверцу не закрыл.

— Хватит, Лёдик, не смешно.

— Рут, иди скорей сюда! — Лёдик махнул ей рукой и припал к щёлке.

Рута совсем рядом зашуршила соломой.

— Смотри,— сказал Лёдик, не отрывая глаз.

Немец развесил всю выкладку на двери уборной и сидел в самой откровенной позе. Перед ним стоял маленький Славка, мальчик лет семи, сын соседки Нasti, и что-то повторял.

— Тише, не шурши, — сказал Лёдик.

Рута затаилась.

Немец учил мальчишку счёту.

— Айн! — говорил немец.

— Айн, — повторил мальчишка.

— Цвай!

— Свай!

— Драй!

Мальчишка повторил. Но на цифре четыре застрял и никак не мог произнести её правильно.

— Фир! — тужился, пучка глаза, немец.

— Фин, — упорно твердил мальчишка.

— Прямо мелодекламация, — шепнула Рута.

Лёдик беззвучно смеялся.

Они оторвались от щёлок. Лёдик, ещё смеясь, посмотрел на Руту. Девушка одёрнула юбку. Лёдик резким движением оголил ей ногу выше колена. Рута не шлохнулась. Только сощурила большие глаза и посмотрела чуть презрительно.

Лёдик приблизил своё лицо к её лицу и неумело поцеловал в губы.

— Так как тебя зовут? — спросила Рута.

— Володя, — сказал Лёдик и впервые смущился.

Рута. Вечер

Рута ещё читала. А вечер уже посыпал дорогу, по которой прошёл день, крупными звёздами.

Журналы Руте принес Спирька. Это была старая подшивка «Вокруг света»

Она кончила читать рассказ из жизни дальнего Запада. «Техас, — подумала она, — прерии... Нет войны, нет немцев. И всё равно люди убивают друг друга. Как этот». Она нашла страницу и прочла: «Из-за стойки он стрелял с убойственной меткостью...». Да, за честь девушки. И подумала о Лёдике. Он какой-то нескладный, грубый, иногда даже мерзкий, и всё же в нём что-то близкое, странное, чего я не могу понять, и он смелый, а это главное. Он весь из тлеющих угольков, которые вот-вот вспыхнут. И он ещё совсем мальчик! Спирька — тот легче, проще. Они хорошие ребята. Может, и спасли меня, потому что такие».

Она стала вспоминать других, кого знала по городу, по музыкальной школе.

Вспомнила Эдика Савинского. Все были влюблены в него. Даже мальчишки и преподаватели. В какой-то вечер он должен был играть соло в скрипичном ансамбле. Но сослался на больной зуб и стал отказываться — его ждала чёрная эмка и ялтинский ресторан. Кто-то узнал и сказал ему. Эдик побледнел и пошёл на сцену. Свою партию он сыграл зло, но талантливо...

Рута вспомнила, как однажды тихо вошла в класс. Эдик стоял у окна и играл скрипичный этюд Шпора.

И как он опустил смычок и спросил: «Что вам угодно, мэм?» И как она покраснела, а Эдик посмотрел на неё глазами мужчины...

Где-то хлопнул выстрел, потом — ещё. Рута сразу подумала о Лёдике. Она приоткрыла дверцу чердака. Ветерок, тихий, ласковый, потрогал прядь волос. Рута вздохнула. «Вот уже две недели, как я здесь. Две недели — солома и писк мышей. Парням надоест, и они выставят меня... Или найдут полицаи...» Но она привыкла к своему убежищу. «Да, две недели... А им разве сладко? — подумала Рута о ребятах. — Достают еду, что могут. Где они её берут? Ну кто я им?! Лёдик... Могла бы я полюбить его? А если да? Я, кажется, нравлюсь ему... Глупые мысли. Просто я жива, просто я живу. Нет, о маме, бабушке я не буду думать. Ночью, только ночью». Первая звезда колыхнулась в ветках. «А сколько живут звёзды? — вдруг подумала Рута. — Милиард лет? Два миллиарда? Долго ли будет жить эта звёздочка?»

Хлопнула калитка. Рута вздрогнула.

Лёдик быстро вошёл в дом.

Рута всегда ждала его.

— Рута! — позвал Лёдик. — Рута, ты здесь?

— Здесь, здесь. Прямо перед тобой. Вот же я.

Лёдик увидел зрачки совсем рядом. Таких глаз он ещё никогда не видел. Даже у Руты.

— Ты сегодня волшебная, — сказал Лёдик. — И не надо пугать меня, дурочка! Мы не в жмурки играем.

Лёдик присел на край чердачного окна.

— На яблоко, — сказал он.

— А тебе? — спросила Рута.

— Я не хочу.

— Давай пополам.

— Ешь, пока дают.

Рута откусила кусочек. Яблоко было душистое и мягкое.

— Скоро осень, — сказала Рута.

— Да.

— Не люблю осень, — сказала Рута и поёжилась. — Слякоть.

— Осень, осень, — тихо повторил Лёдик. — Ну, ладно, пошёл я...

— Посиди, — Рута придинулась к нему поближе. — Посиди. Я всё время одна.

Лёдик молчал.

— Ты любишь музыку? — спросила Рута.

— Какую?

— Ну, музыку вообще?

— Не знаю, — сказал Лёдик.

— Если было бы всё иначе, я сыграла бы тебе Бетховена, Грига...

— Если было бы всё иначе, ты бы меня обегала за три версты, — сказал Лёдик. — Я же не музыкант, я — шпана, — он сказал это горько, иронически.

— Почему ты такой колючий? — спросила Рута. — Как дикобраз.

— Таким уж родился.

— Не надо быть таким, Володя.

Она хотела погладить его волосы. Лёдик отдернул голову.

— Я пошёл, — раздражённо сказал он. Рута обиделась.

Лёдик

— Штифель пущен! — кричал Спирька. — Экстра! Прима!

Он сидел на Гоголевской у подвальчика. Дальше у пышной акации примостился маленький белобрысый Толька Патент. Ему всегда везло на клиентов.

Лёдик сидел на углу, как раз перед подъёмом на мост. На той стороне улицы тянулась стенка лагеря военнопленных. Немецкая автоколонна застряла надолго. Солдаты гремели котелками, смеялись, спорили. Машины были разные, но почти у всех на передке — подковы на счастье, а на кабинах нарисованные кошки, зайцы, лошади.

«Зоопарк», — подумал Лёдик.

Солдаты мылись тут же, на дороге. Пахло душистым мылом.

Около Спирьки столпилась очередь.

— Штифель, штифель, — повторял он и жонглировал щётками. Немцы смеялись.

Лёдик посчитал мелочь. Две марки, несколько лёгких пфеннигов. Он взял одну монетку побольше с

Адольфом в профиль и бросил в ящик. Алюминиевый кругляшок даже не звякнул. Лёдик ждал. Мусса смеялся в час, прикинул он. Так же, как вчера тот молодой, сменщик Муссы, тоже татарин. Лагерь напротив, а стенку так и не надстроили. Даже проволоки нет. Если голову поднимают из-за стены — видно. Лёдик постарался представить всю огромную территорию бывшего Картофельного городка. Тысяч пять вмещает. Вчера бежали трое. Время было час или чуть больше. Вчера получилось удачно.

Лёдик обслужил ещё двух солдат. Один дал марку, другой тюбик сыру. Порывшись в карманах, бросил пфенинг. Руки немножко устали махать щётками. «А хорошо быть чистильщиком в большом городе, — подумал Лёдик. — Видишь людей, всё время — толпа, разная, пёстрая». Лёдик отряхнул бархотку и посмотрел в сторону моста. Ага, Мусса меняется. Часовые поздоровались и разошлись. Мусса за мост, в караульную, а этот молодой остался. Немец, что охранял лагерь, разговаривал с шофером передней машины. Шофер смеялся, потом бросил часовому пачку сигарет. Тот поймал, закурил и бросил пачку обратно. Покурив, он медленно пошёл вдоль стены лагеря...

Голова в грязной пилотке выглянула из-за стены. Лёдик встал и отчаянно замахал рукой со щёткой. Голова поняла его жест и скрылась. Молодой татарин пошёл на мост, толкая ногой пустую консервную банку.

— Вали, вали, гад! — мысленно подгонял его Лёдик. — Пожалуй, можно! — и быстро постучал в низкое окно дома, у которого сидел.

Пацан сплющил нос о пыльное стекло.

— Давай! — сказал Лёдик. Тот кивнул.

Лёдик немного отошёл и посмотрел на липу внутри двора. Пацан уже вскарабкался на дерево. Ловко, подумал Лёдик. Он видел, как мальчишка помахал рукой.

Из-за стены лагеря прыгнули двое. Один упал. Но быстро поднялся и догнал товарища. Они пересекли улицу и нырнули в ворота товарной платформы. «Куда они потом?» — подумал Лёдик. Вывалился третий. Он прихрамывал. За воротами грохнул выстрел. Один из тех двоих выскочил из ворот и побежал обратно к лагерной стенке. Он рывком подтянулся и перевалился внутрь.

— Застукали. — Лёдику стало страшно.

С моста к тому, что прихрамывал, бежал татарин. Пленный заметался.

— Ну, всё, — Лёдик отвернулся. Грудь его заполняла холодная пустота.

— Батюшки-сыночки!?

Лёдик не заметил, как подошла старуха. Сбегались солдаты. Им было интересно.

— Господи, — старуха крестилась. — Царица небесная!

Пленного, того, что прихрамывал, били втроём. Он упал и дёргался под ударами сапог. Третий, не татарин и не часовой, прибежал с платформы, выбросил из ствола винтовки горячую гильзу и пинал прикладом, стараясь попасть в лицо.

— Сыночки, — причитала старуха, — родненькие!

Пленный истощено закричал — ему попали в пах. И ещё раз в то же место и ёщё... Его поволокли и бросили

в канаву у стенки лагеря. С левой ноги свалился опорок. Татарин поддал его ногой. Опорок кувыркнулся в пыли рядом с пленным.

— Кранты, — сказал Спирька.

Они подошли все: Спирька, Патент, даже пацан с дерева, и зло, тяжело дышали.

— Застукали гады, — сказал Лёдик. — Вон тот, — он указал на немца, прибежавшего с платформы...

Немец кричал на часового, охранявшего лагерь. Часовой размахивал руками и что-то доказывал.

— Кончай базар, — сказал Лёдик. — Собираем шмутки.

Лёдик воткнул щётку в щётку и наклонился над ящиком. Нога в тупоносом коричневом ботинке стала на ящик.

— Почистим? — привычно сказал Лёдик и поднял голову.

Тот, кто поставил ногу, был в штатском.

Лёдик поискал коричневый крем. Его было совсем мало. Довоенная коробочка. Он нашёл её в сарае. У всех, кому приходилось чистить, была чёрная обувь, только чёрная. Лёдик нашёл чистую и жиденькую щёточку и быстро обработал клиента. Туфли были добрые, новые, но уже в трещинках. «От жары, — подумал он».

— Гут, — сказал клиент. — А теперь проваливай!

— Ты... Вы... что... полицай? — спросил Лёдик.

— Проваливай! — клиент толкнул ящик.

— У меня есть патент, — сказал Лёдик. — Вы заплатите сначала, — Лёдик перешёл на «вы», чувствуя неладное.

— Слушай, парень, почему ты не в Германии? — спросил клиент.

— Я больной. У меня справка, — соврал Лёдик.

— Проваливай! — клиент толкнул ящик.

— Вы сначала заплатите, — настаивал Лёдик.

Клиент посмотрел нехорошими глазами:

— Ты был когда-нибудь в гестапо?

— Нет.

— Если я тебя ещё раз увижу здесь... — клиент наклонился, — ты побываешь там.

— Где? — «глупел» Лёдик.

— В гестапо.

— Зачем?

— Зачем? — клиент наклонился ещё ниже, и Лёдик почувствовал, как пахнет гнилыми зубами из его рта. — Я тебе скажу, зачем. Там из тебя сделают барабан и заставят играть на нём. Понял?

— Понял, — сказал Лёдик. — А платить надо. У меня патент.

— Ауф видерзейн, — сказал клиент.

— Ладно, — сказал Лёдик, — учту.

Клиент с достоинством, не оглядываясь, пошёл к месту, где лежал пленный.

«Скользкая гнида, — клокотал Лёдик, — мразь! Попадись ты мне на узкой дорожке, крыса вонючая!».

Кипучий, но завоёванный

— Здорово, Зорик!

— Здорово, Лёдь!

— Зорь, где продают женские тряпки?

— Зачем тебе?
— Та, двоюродной сеструхе платье хочу достать.
Обтрепалась девка.
— Спроси у Костыля. Он спец по барыге.
— Где его найти?
— Да вон, за тарной.
— Ну, а ты как? — спросил Лёдик.
— Кручусь потихоньку! Работы хватает.
— За тарной, говоришь? — переспросил Лёдик.
— Да, там они бараҳлом торгуют.
— Ну, бывай!
— Бывай Лёдь!

Лёдик врезался в базарную толпу.
— Колечки, колечки! — кричала толстая баба.
Румыны примеряли алюминиевые кольца. Безногий сидел в пыли низким обрубком. Он дёрнул Лёдика за штанину:
— Чулков нема? — спросил он. — Меняю на сахарин.
— Меняй! — сказал Лёдик и пошёл дальше.
— Пластиночки Лещенко! — зазывал анемичный интеллигент в соломенной шляпе. — Совсем даром. — «У самовара я и моя Маша...» — хрюпlo запел он и закашлялся...
Толпа подалась на Лёдика. В образовавшемся кольце два полицая били пьяного.
— Так его! — приговаривала накрашенная блондинка.
— Сейчас я тебе «такну»! — сказал Зорик.

Он нырнул юркой рыбёшкой, подмигнув Лёдiku, воровато оглянулся и «прилип» к блондинке. Лёдика оттеснила группа румын. Когда они прошли, Зорик уже исчез.

— Обокрали! — взвизгнула блондинка и наотмашь ударила рябого мужика, стоящего рядом. Мужик сильно толкнул её в грудь:

— Лярва! Я тебе подерусь!

— Берите его! — визжала блондинка. — Это он! Последнюю марку, сволочь!

Полицаи оставили пьяного и схватили мужика. Мужик упирался.

— Кино! — сказал Лёдик.

Базар плевался бранью, дышал потом и пылью. Торговался, спорил, менял, воровал, обманывал. Разбойный южный базар. Кипучий, но завоёванный.

Завитки богини

— Довольна? — спросил Лёдик
— Очень! — сказала Рута. — Спасибо.

Степной ковыль поглаживал тёплый ветер. Ковыль плыл волнами.

— Вон Аверкина, — Лёдик показал вниз.

Я знаю, — сказала Рута. — Раньше мы здесь собирали пионы. Красные и жёлтые. Нас всегда пугала и манила эта Аверкина пещера.

Они шли по склону холма.

— А правда, что там было раньше? — спросила Рута.
— Перексилиновый склад, — сказал Лёдик.

— Вов, — сказала Рута, — мне кажется, что нет войны. Всё как было — тихо и спокойно. Только немножко пахнет гарью.

— Это потому, что тебе сегодня шестнадцать, — сказал Лёдик.

— Это уже много, да, Вов?

— Как сказать...

— Раньше, когда я была маленькая, я всегда думала: семь — это много, а десять — уже совсем много и всё время ждала, когда же будет ещё больше. Я помню, мне тогда очень хотелось быть Бекки Тэтчер и сидеть рядом с Томом в пещере, и бояться индейца Джо. Я как-то спросила у мамы, а сколько лет было Бекки и Тому, мама улыбнулась и ответила — лет одиннадцать, двенадцать.

— А кто это, Бекки? — спросил Лёдик.

— Ты что, не читал «Тома Сойера»?

— Кажется, читал, только давно, — смущаясь Лёдик.

— А ты смотрел картину «Цыгане из табора»?

— Как же! — сказал Лёдик, — мы ещё через барьер канали, а старуха-билетёрша ловила нас.

— Помнишь, как медведь вырвал решётку из подвала?

— Да, здорово, — сказал Лёдик.

— А «Остров сокровищ» смотрел?

— Девять раз.

— Мне очень жалко было того великана с собачкой, — сказала Рута.

— А мне — одногоного.

— Он отрицательный герой.

— Всё равно было жалко, — Рута поймала паутинку. — Будет бабье лето, — сказала она.

— Почему бабье, может — мужичье.

— Так уж говорят, — сказала Рута. — Ты чем-то недоволен, Вов?

— Всё нормально, — сказал Лёдик, но не нравится мне твоя затея.

— Что мы вышли сюда?

— Да.

— Нас же никто не заметил. Просто парень и девушка. Что особенного?

— Ты смелая? — спросил Лёдик.

— Трусиха. А что?

— Да так, ничего.

Она отбежала на несколько шагов и стала в позу манекенщицы.

— Как платье?

«Мотылёнок», — подумал Лёдик, — с обожжёнными крыльями».

— Платье, как платье, — сказал он.

— Нет, на воздухе, на солнце оно другое. Посмотри.

Рута повернулась, и фиолетовый шёлк стал прозрачным.

— Красиво, правда?

— Да, — сказал Лёдик. И подумал: может, это платье с убитой.

— Ты всё забыла. Дубки рядом.

Рута сникла.

— Я не знаю, кто научил тебя так быстро всё гасить, — тихо сказала она, — но ты прав. — Скажи, за что нас ненавидят?

— За ум, — сказал Лёдик.

— По-твоему, все евреи гении? Большинство просто трудятся.

— Вы умсете жить, — сказал Лёдик, — а это не любят!

— У нас всем дорога открыта — учись, добивайся.

— Была, — сказал Лёдик, — и дорога, и будущее. Теперь — дубки. Адолльф не любит умниц. Сначала вас, потом нас. Нас позже, потому что ему нужна рабсила.

— Он просто мерзавец, — сказала Рута. — Стариков, детей. И все идут и верят. Безропотно, как скот. Ты знаешь, Вов, когда на тебя смотрит оружие, это парализует. Наверное, мы, правда, трусы...

— Нет, неправда. С оружием можно растоптать любую храбрость.

— Знаешь, Вов, мне иногда стыдно, что я еврейка.

— А мне, что я шпана, — сказал Лёдик.

Они помолчали.

— Нужно бороться.

— Как? — спросил Лёдик. — Создать подполье и петь «Орлёнка», когда погонята на расстрел?

— Я серьёзно.

— И я, — сказал Лёдик.

— С тобой нельзя говорить, — насупилась Рута.

— Я думаю, как мы пройдём обратно. К вечеру народ толкается, — Лёдик присел. — Давай посидим, — сказал он.

— А платье как же?

— Чепуха, садись!

Рута села так, что платье колокольчиком покрыло пористый камень.

Лёдик закурил.

— Зачем ты куришь? — спросила Рута.

— Затем, — Лёдик пустил дым. — Ты тоже просила, помнишь?

— Нет, не помню. А что вы делали в Дубках, когда нашли меня?

— Шли с Украинки и заглянули... Что делали. Мышей ловили.

— Нет, правда?

— Что ты пристала, ходили и всё. Жрать надо, вот и ходим, — он глубоко затянулся и плюнул на окурок. — А ну, наклонись-ка, — сказал Лёдик.

— Зачем?

— Наклонись!

Рута наклонилась. Пышные волосы искрились синевой.

— Вот, — сказал Лёдик, — прилипла. И дунул на клочок паутины. — А почему у тебя волосы растут задом наперёд?

— Где? — Рута потрогала волосы.

— Здесь, — Лёдик пошевелил чёрное полуколечко у самого виска. Оно смотрело остиром завитка вперёд, в сторону лица.

— Ах, это, — улыбнулась Рута, — завитки богини, — сказала она и кокетливо дёрнула бровью.

— Какой богини? — спросил Лёдик

— Библейской. Мама так говорила.

— Тоже ещё — богиня...

Он достал яблоко и протянул Руте.

— Где ты их берёшь? — спросила Рута

— В саду на Жигулинке.

— А вкусные, — сказала Рута, — только маленькие.
— Есть и побольше, — сказал Лёдик и вынул из кармана гранату-лимонку.

— Что это? — спросила Рута.

— Ёлочная игрушка.

— Дай посмотреть.

— Нельзя, можешь разбить.

Тёплая граната легла в карман рядом с яблоками.

— Жадина, — сказала Рута. — Это вовсе не игрушка, а кусок железки.

— И то правда, — согласился Лёдик

Рута бросила огрызок яблока. К огрызку подбежал рыжий муравей и пошевелил усами. Рута потрогала муравья стебельком травы и зашептала: «Колдуй баба, колдуй дед, заколдованный билет...».

— Что ты бубнишь?

— Так, с муравьишкой играю.

Лёдик наклонился и дунул. Муравья смело струёй воздуха.

— Зачем? Поиграть не дал...

Немецкая речь заставила их вздрогнуть. Они разом обернулись. Двое в чёрной форме шли прямо на них.

— Бежим, — сказала Рута.

— Поздно, — сказал Лёдик, — доигрались.

Немцы шли спокойно, и поэтому казалось, что медленно.

Рута и Лёдик встали.

— Пойдём вниз, — сказал Лёдик, — только не спеши.

Рута ударами сердца считала шаги.

Пять, считала она, десять. За спиной молчание. Пятнадцать. За спиной только разговор. Ещё немного. Двадцать.

— Хальт!

Рута думала об окрике и всё-таки вздрогнула.

Окрик прозвучал озорно, без угрозы.

— Лучше стой, — сказал Лёдик, — теперь не уйдёшь.

Она посмотрела на него, такого худого и жалкого в обшарпанных брюках. Глаза его сузились и стали чужими.

— Хальт! — сказал один из двоих совсем миролюбиво.

«СС», — обречённо подумал Лёдик. У каждого на петлицах было по черепу. Немцы были одинаковые, прямо братья. Оба русые, молодые. Только у одного на погонах кант пошире. Наверное, унтер.

— Гутен таг, — сказал тот, что окликнул.

— Здрасьте, — сказал Лёдик.

— Гуляйт? — немец улыбнулся.

— Да, гуляйт, — сказал Лёдик.

— Корово, — сказал немец. Он обратился к товаришу и быстро что-то спросил.

Они посмотрели на Руту.

— Ты есть девошка?

— Да, девушка, — ответил за неё Лёдик.

Немцы заговорили между собой:

— Красивая девка, Людвиг!

— Похожа на еврейку!

— Не важно, смотри, какая грудь, я не видел такой с самой Польши. Бросим жребий?

— Я не брезгливый. Можешь первый.

— И всё-таки она сврейка. Сколько ей лет, как ты умашь?

— Лет 17.

— Потом пристукнем?

— Пусть живёт. Для коллекции.

— Нет, надо пристукнуть.

— Там посмотрим.

— А этого?

— Пинком в зад.

«Юде» — поняла Рута и побледнела.

— Бомбоне, фройляйн?

Тот, что в погонах унтера, вынул трубочку конфет протянул Руте.

— Бери! — сказал Лёдик

Рута машинально взяла конфеты.

— А мне? — нагло спросил Лёдик

— Ти гуляйт, — немец потрепал Лёдика по плечу. —

Ми гуляйт фройняйн. Фокус-покус, — сказал он, резко надвинув фуражку на лоб Лёдику.

— Никс, комрад, мы вместе, — Лёдик поправил кепку.

— Вэк! — зло крикнул унтер. — Шайзен менш!

Окликнувши первым, согнул руку крендельком и подошёл к Руте.

— Гуляйт, фройляйн?

Рута стояла беспомощная со столбиком конфет.

— Рута... — начал Лёдик горячей скороговоркой. —

Беги, Рута, беги, что есть сил, а когда я крикну — ложись!

Девушка поплевала белыми губами.

— Вас ис дас? — спросил унтер.

— Беги, Рута!!!

Лёдик прыгнул в сторону, и это дало толчок. Рута сорвалась испуганной птицей. Она бежала быстро, и платье лилось за ней фиолетовым солнцем.

— Хальт! — крикнул унтер и расстегнул чёрную кобуру.

Лёдик потными пальцами сжал лимонку.

— Хальт! — ещё раз крикнул немец и, не спеша, взвёл курок.

«Я люблю её», — подумал Лёдик и выдернул кольцо. Гранату он бросил плавно и точно, как биту при игре в пожарá. Она тяжело шлёпнулась между двух сапог.

— Ложись! — закричал он падая.

Полыхнуло. Лёдика распяла земля, сухая, кремнистая. Уши проколол свист. Пороховой волной обожгло мозг. Оседала пыль. Лёдик поднял голову. Левый глаз забило песком. Лёдик поморгал. Глаз начал слезиться. Он встал. В ушах затихал звон.

Фашисты лежали чёрными пятнами. Маленькая воронка дымилась. Он осторожно подошёл, боясь верить. Унтер был ещё жив. Воронёный пистолет валялся рядом.

— Майн гот, — сказал унтер и повёл мутным зрачком. Рот его пузырился красной пеной. Второй лежалничком. Пилотку его сорвало, она покачивалась в ковыле чёрной лодочкой. Тлел уголок кителя.

— Сработала, — сказал Лёдик и почувствовал слабость.

Рута была в обмороке. Идя к ней, Лёдик подобрал её туфлю.

Лёдик наклонился, приподнял её голову. Конфеты были зажаты в кулаке.

— Я всё слышала, — сказала она. — Он стрелял с убийственной меткостью...

— Ты о ком?

— О тебе.

— Надо драпать, — сказал Лёдик. — Те двое готовы.

— Я знаю, иначе ты не мог. Чем ты их?

— Ёлочной игрушкой.

— Родной! — глаза Руты стали озёрами слёз. — Прости меня! Это я виновата, мои шестнадцать лет. Спасибо тебе, что не повторилось... о чём знают дубки и ты.

— И Спирька.

— Да, мы трое и дубки.

— Вот! — Лёдик подал ей туфлю.

— Принц, — сказала Рута.

— И рыцарь, — добавил Лёдик, — со страхом и упрёком... Пойдём!

Они стали спускаться с откоса, разбрызгивая щебёнку.

— Стой! — сказал Лёдик. — Я сейчас!

— Я с тобой,

— Ну, давай! Нужно склонить их. Если найдут — крышка целой улице.

— Говорят, за одного — десять, — сказала Рута.

— Пулемёт посчитает. Ты лучше просматривай подходы. Я быстро.

Рута видела, как Лёдик рывками тащил тяжёлое тело к старой траншеи. Степь и предгорья успокаивали пустотой. Ликовали кузнечики. Вдали синел Чатыр-Даг. За ним — море. Наверное, одинокое и тоже пустое.

— Порядок, — сказал Лёдик и отряхнул руки. — Тяжёлые, гады! Из-за пояса у него торчал пистолет.

— А это зачем? — спросила Рута.

— На память, — сказал Лёдик. — Пойдём.

.....

Они лежали на чердаке. Остывая, пахла солома.

— А знаешь, когда ты здесь, не пищат мыши, — сказала Рута. — Они боятся тебя?

— Нет, знают и поэтому молчат. Ведь я свой.

— А — я?

— И ты своя.

— Почему же они пищали?

— Заигрывают с тобой.

— Глупости, — сказала Рута — Просто, когда ты здесь, они молчат.

— Ну, ладно, молчат, так молчат.

Лёдик положил руку на лоб девушке.

— Горячая? — спросил он.

— Холодная и лёгкая, как крыло птицы, — сказала Рута, — только пахнет гуталином.

— А где завитки богини?

— Найди.

— Сейчас темно.

— А ты попробуй.

Лёдик коснулся шершавыми губами виска Руты.

— Вот они, — сказал он и почувствовал запах волос, пыльный запах немытых волос, но приятный. Так пахнут нагретые камни.

— Ты думаешь? — спросил Лёдик.

— Думаю, — сказала Рута.

— О чём?

— Обо всём. И о тебе тоже. Что бы я делала, если бы не ты...

— Наверное, не думала обо мне.

— Нет, — сказала Рута, — я молчала бы всегда, вечно. Завыла сирена воздушной тревоги.

— Проверка нервов, — сказал Лёдик.

— Это реквием, — сказала Рута. — Моему дню рождения.

Подключился второй гудок, третий. Сирены пели на одной ноте о чём-то ужасном, неизбежном.

— А знаешь, Рут, — сказал Лёдик, — я не боюсь их, ио этого мало.

СОДЕРЖАНИЕ

Э.Львов. Предисловие	5
Королева золота (калейдоскоп)	10
Жестокость.....	26
Терентьевна	34
Мудак.....	38
Чувство новизны	47
Земля	50
Гобелен.....	72
Смерть Понюхина	78
Зверь в теплотрассе.....	83
Пригласите меня на танец	108
Генка.....	116
Угол.....	119
Коробка из-под зубного порошка	121
Галера	123
Не дождь погасил фонари.....	125

Карен Петросян

Птица-беда

Главный редактор издательства *И. А. Савкин*

Дизайн обложки *И. Н. Граве*

Оригинал-макет *Б. Н. Марковский*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.

Издательство «Алетейя»,

192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.

Тел./факс: (812) 560-89-47

E-mail: office@aletheia.spb.ru (отдел реализации),

aletheia@peterstar.ru (редакция)

www.aletheia.spb.ru

Фирменные магазины «Историческая книга»:

Москва, м. «Китай-город», Старосадский пер., 9. Тел. (495) 921-48-95

Санкт-Петербург, м. «Чернышевская», ул. Чайковского, 55.

Тел. (812) 327-26-37

Книги издательства «Алетейя» в Москве

можно приобрести в следующих магазинах:

«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru

Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83

Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2.

Тел. (495) 915-27-97

Магазин «Гилея», Тверской б-р., д. 9. Тел. (495) 925-81-66

Магазин «Фаланстер», Малый Гнездниковский пер., 12/27.

Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21

Магазин издательства «Совпадение».

Тел. (495) 915-31-00, 915-32-84

Подписано в печать 29.08.2011. Формат 70x100 $\frac{1}{32}$

Усл. печ. л. 6,4. Печать офсетная. Тираж 1000 экз.

Заказ № 894

Отпечатано в типографии издательско-полиграфической фирмы «Реноме»,

192007 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 40.

Тел./факс (812) 766-05-66. E-mail: renome@comlink.spb.ru

www.renomespб.ru